

ПЕРЕКРЕСТЬЯ
РУССКОЙ
МЫСЛИ

андрей
ТЕСЛЯ

Андрей Александрович Тесля, ведущий специалист по русской общественной мысли XIX века, кандидат философских наук.

В серии «**Перекрестья русской мысли**» делается попытка сдвинуть **ключевых персонажей интеллектуальной жизни** России XIX века с «насиженных мест» в истории русской философии и **создать наиболее точную и объемную картину эпохи.**

петр
ЧААДАЕВ

Его ожидания великого будущего предполагали **имперское видение, универсальная монархия** тем лучше могла осуществить свою задачу, что опиралась на **народ, не имеющий ничего частного** — и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее.

сборник
Философические
письма,
адресованные даме

Перекрестья русской мысли

Петр Чаадаев

**Философические письма,
адресованные даме (сборник)**

«РИПОЛ Классик»

1828-1854

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

Чаадаев П. Я.

Философические письма, адресованные даме
(сборник) / П. Я. Чаадаев — «РИПОЛ Классик»,
1828-1854 — (Перекрестья русской мысли)

ISBN 978-5-386-09822-3

Современный читатель и сейчас может расслышать эхо горячих споров, которые почти два века назад вели между собой выдающиеся русские мыслители о судьбах России и ее историческом пути. В книгах серии «Перекрестья русской мысли с Андреем Теслей» делается попытка создать точную и объемную картину интеллектуальной жизни России XIX века. Петр Яковлевич Чаадаев – колоссальная фигура эпохи, человек, оказывавший огромное влияние на своих современников и по сей день стоящий особняком в картине общественной мысли России. Данный сборник включает себя все главные тексты Чаадаева: «Философические письма», «Апологию сумасшедшего» и избранные письма.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-386-09822-3

© Чаадаев П. Я., 1828-1854
© РИПОЛ Классик, 1828-1854

Содержание

Андрей Тесля	6
Московский старожил	6
Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»	15
Реакция на «Философические письма»: до и после публикации	18
Принцип Чаадаева	21
П.Я. Чаадаев	32
Философические письма	32
Письмо первое	32
Письмо второе	43
Письмо третье	50
Письмо четвертое	56
Письмо пятое	63
Письмо шестое	70
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Петр Яковлевич Чаадаев, Андрей Тесля

А.А.Тесля: Философические письма, адресованные даме

© Тесля А.А., составление, вступительная статья, дополнительные материалы, 2016

© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2017

Андрей Тесля Неизменность Чаадаева¹

Чаадаев был умен, остер на язык и саркастичен; он был недоволен почти всем, что делалось вокруг него; он держался независимо и жил вне службы; наконец, он был друг декабристов и опального Пушкина и за его статью был закрыт журнал. Таких данных, пожалуй, и теперь было бы достаточно, чтобы составить человеку репутацию либерала.

М.О. Гершензон, 1908 г.

Московский старожил

Когда 14 апреля 1856 г. во флигеле дома на Новой Басманной, который он занимал более двух десятилетий, скончался Петр Яковлевич Чаадаев, «Московские ведомости» напечатали следующее объявление:

Скончался «один из московских старожил, известный во всех кружках столицы».

Затруднение редактора в подборе слов для определения покойного не сложно понять – Чаадаев был одной из московских знаменитостей, но в то же время не обладал ни чинами, ни каким-либо официальным положением, которое можно было упомянуть в некрологе; некогда будучи состоятелен – к концу жизни едва имел чем жить, да и то скорее по доброте людей, его окружавших; даже литератором его назвать было невозможно – ведь при жизни были опубликованы всего две его статьи, причем первая – размером в четыре страницы, а вторая, которую в сравнении с первой можно назвать обширной, уместилась менее чем на полусотне страниц совсем небольшого формата.

Чаадаева знала вся Москва – т. е. все те, кого называли «хорошим обществом», но за пределами этого круга его известность сводилась к скандальной истории публикации «Философического письма к даме» и высочайшему объявлению сумасшедшим. Впрочем, и салонная известность Чаадаева во многом покоилась на тех же основаниях: он был интересен, необычен, об идеях его судили превратно – сводя до нескольких реплик, как то обычно и бывает, – основания которых легко найти в его собственных текстах, но которые от повторения и не очень задумывающейся интерпретации уходили все дальше от исходного содержания.

Уже при жизни, а в особенности в ближайшее десятилетие после смерти возобладали два основных способа понимать взгляды Чаадаева. Для одних, в первую очередь для Герцена, еще при жизни Чаадаева успевшего написать о нем в своем заграничном, обращенном к европейской аудитории памфлете «О развитии революционных идей в России» (1851), он вошел в длинный перечень борцов за свободу – между декабристами и самим Герценом:

«[...] письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за

¹ Исследование выполнено в рамках работ по гранту Президента РФ № МК-5033.2015.6. Тема: «Формирование украинского национализма: между Польшей и Москвой (1840–1900-е гг.)». Данная статья является существенно расширенным вариантом одноименной статьи, опубликованной: Социологическое обозрение. – 2016, Т. 15, № 3.

десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. [...] Да, этот мрачный голос зазвучал лишь затем, чтобы сказать России, что она никогда не жила по-человечески, что она представляет собой „лишь пробел в человеческом сознании, лишь поучительный пример для Европы“. Он сказал России, что прошлое ее было бесполезно, настоящее тщетно, а будущего никакого у нее нет»².

Если для Герцена религиозное содержание идей Чаадаева объяснялось как следствие места и времени, нечто, что скрывает совсем иное содержание – скрывает в том числе и от самого автора, – то для круга «русских католиков» именно оно предсказуемо стало основным. Чаадаев в интерпретации о. Ивана Гагарина (издавшего в 1862 г. в Париже по копиям, предоставленным М.И. Жихаревым, первое собрание сочинений Чаадаева, на полвека ставшее основным источником сведений для тех, кто не желал ограничиваться краткими сведениями из вторых и третьих рук) стал представителем католической идеи в России – более того, тем, кто осмелился не только признать правоту католичества, но и гласно заявить об этом в момент утверждения православия в качестве первого члена национальной триады.

Следует отметить, что каждая из этих интерпретаций не была лишена оснований: они не были заблуждением, но в то же время рисовали облик совсем иного лица, не совпадающий с Чаадаевым. Помещая Чаадаева в контекст «развития революционных идей», Герцен и его последователи предлагали счесть религиозное основание его мысли – исторической подробностью, но при таком подходе речь шла уже не о Чаадаеве, а об общественном значении его идей, несмотря или вопреки тому, что имел в виду и стремился сказать сам автор. В логике «русского католичества» затруднение было еще более примечательным: Чаадаев сам не перешел в католичество, т. е. либо между его словами и его делами образовывался разрыв, либо же его слова были поняты не вполне, если предположить, что Чаадаев был достаточно последователен хотя бы в том, что объявлял важнейшим.

Жизнь Чаадаева в глазах публики вся сфокусировалась вокруг событий нескольких последних месяцев 1836 г., когда в не очень популярном, сравнительно мало читаемом московском журнале «Телескоп» вышла его статья: «это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, – все равно, надобно было проснуться»³. До этого времени о нем знали не очень много – после этого о Чаадаеве в основном знали только эту историю.

Петр Яковлевич Чаадаев был вторым (и последним) ребенком в семействе Якова Петровича Чаадаева и Натальи Михайловны, урожденной княжны Щербатовой, – так что

Михаил Михайлович Щербатов, депутат Уложенной комиссии и автор «Истории Российской»⁴, приходился Петру Яковлевичу дедом. Родившись 27 мая 1794 г., Чаадаев уже не застал кн. Щербатова, скончавшегося четырьмя годами ранее, впрочем, и родителей своих ему запомнить не довелось: отец умер в следующем году, а два года спустя скончалась и матушка, так что воспитание двух братьев (Михаил родился в 1792 г.) взяли на себя тетушка, Анна Михайловна Щербатова, и дядя, Дмитрий Михайлович Щербатов.

² Герцен А.И. О развитии революционных идей в России // Собрание сочинений: Б 30 т. Т. VII. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. С. 221–222.

³ Герцен А.И. Былое и думы: Части 4–5 / Комментар. Г.Г. Елизаветиной. – М.: Художественная литература, 1982. С. 111.

⁴ А также знаменитого памфлета «О повреждении нравов в России», который впервые опубликует уже после смерти внука автора Герцен (1858) в своей лондонской типографии, в одном томе с «Путешествием из Петербурга в Москву» Радищева.

По словам М.И. Жихарева, наиболее близкого к Чаадаеву в последний период его жизни, тетушка, получив известие о смерти своей сестры, «в самое неблагоприятное время года⁵, весною, в половодье, не теряя ни минуты отправилась за ними, с опасностью для жизни переправлялась через две разлившиеся реки – Волгу и какую-то другую, находившуюся по дороге, добралась до места, взяла малюток, привезла в Москву, где и поместила вместе с собой, в небольшом своем домике, бывшем где-то около Арбата»⁶. Тетушке было суждено дожить до 1852 г. и скончаться в глубокой старости (родилась она в 1761 г.), непрестанно заботясь (как умея – была она женщиной доброй, но простой) о своих племянниках, из которых старший, Михаил, непременно отвечал на это почтительными письмами. В 1834 г. она, например, писала последнему:

«Благодарю Всевышнего, что избрал меня служить вам матерью в вашем детстве, и в вас нахожу не племянников, но любезных сыновей; ваше благорасположение доказывает мне вашу дружбу, но и я, будьте уверены, что я вас люблю паче всего; нет для меня ничего любезнее вас, и тогда только себя счастливою нахожу, когда могу делить время с вами»⁷.

Состояние досталось им от родителей более чем достаточное – около одного миллиона рублей на двоих, воспитание они получали сперва домашнее, а затем в 1808 г. поступили в Московский университет, где их сотоварищами сделались А.С. Грибоедов, Д.А. Облеухов, братья Л. и В. Перовские, И.М. Снегирев, Н.И. Тургенев, И. Д. Якушкин.

Для того времени и той среды дружба значила очень много – отношения, обретенные в юности, продолжались всю жизнь⁸. Так, после приговора по делу декабристов, по которому Якушкин за умысел на цареубийство был приговорен к смертной казни, замененной каторгой, Чаадаев навещает его семью, как и брат Михаил, и затем, по мере того как сыновья Якушкина, Вячеслав (1823) и Евгений (1826) подрастали, охотно принимал их на Басманной, а уже после смерти Чаадаева Евгений Якушкин собирал материалы о нем, сожалея, что не успел записать устные воспоминания Петра Яковлевича, опубликовал в «Библиографических записках» (1861, № 1) ряд его писем и способствовал изысканиям о Чаадаеве М.Н. Лонгинова, близкого к нему библиографа и библиофила⁹.

На исходе весны 1812 г. он вместе с братом зачислен подпрапорщиком в гвардию, в Семеновский полк, проходит кампанию 1812 г., а затем заграничный поход русской армии 1813–1814 гг., снискав дружбу сослуживцев и уважение старших. По окончании походов и возвращении из Франции переводится (теперь уже один, без брата, продолжившего службу в Семеновском) в лейб-гвардии гусарский полк, расквартированный в Царском Селе, – там, в императорской резиденции, он часто бывает в доме Н.М. Карамзина, где в июне или июле 1816 г. знакомится с А.С. Пушкиным¹⁰.

⁵ Наталья Михайловна Чаадаева скончалась 8 марта 1797 г.

⁶ Жихарев М.И. Докладная записка потомству о Петре Яковлевиче Чаадаеве // Русское общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи (Мемуары современников) / Под ред. И.А. Федосова; вступ. ст. Н.И. Цимбаева. – М.: Изд-во МТУ, 1989. С. 51.

⁷ Цит. по: Гершензон М.О. П.Я. Чаадаев. Жизнь и мышление // Избранное: В 4 т. Т. 1: Мудрость Пушкина / Сост. С.Я. Левит, коммент. Е.Ю. Литвин, В.Ю. Проскурина. – М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000. С. 384.

⁸ См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 58, 66.

⁹ См.: Равич А.М. Евгений Иванович Якушкин (1826–1905). – Л.: Наука, 1989. С. 61–70.

¹⁰ Дружбой с ним он будет в особенности гордиться в старости – публикация в 1854 г. в «Московских ведомостях» (№ 71, 117, 119) «Материалов для [...] биографии» Пушкина, составленных П.И. Бартеневым [см. переиздание: Бартенев П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников / Сост., вступ. ст. и примеч. А.М. Гордина. – М.: Советская Россия, 1992], в которых он не будет упомянут, вызовет крайнее раздражение со стороны Чаадаева, писавшего С.П. Шевыреву: «Бы, конечно, заметили, что описывая молодость Пушкина и года, проведенные им в Лицее, автор статей ни слова не упоминает обо мне, хотя в то же время и выписывает несколько стихов из его мне послания и даже намекает на известное приключение в его жизни, в котором я имел участие, но приписывая это участие исключительно другому лицу. Признаюсь, это умышленное забвение отношений моих к Пушкину глубоко тронуло меня. Давно ли его не стало, и вот

Карьера Чаадаева идет успешно – на исходе 1817 г. он получает назначение адъютантом к гр. И.В. Васильчикову, одному из самых близких к императору Александру I лиц – и с общей точки зрения может рассчитывать на быстрое дальнейшее повышение, будучи лицом известным и ценным высшими чинами империи. Но его собственные планы лежат в иной области – брат уже ранней весной 1820 г. выходит в отставку и поселяется в Москве, а сам Чаадаев подает прошение об отставке на исходе декабря того же года и получает ее в феврале 1821 г. Столь неожиданный при свете внешних обстоятельств поступок обрастает массой слухов и предположений – Ф.Ф. Вигель расскажет, что отставка выйдет из неудовольствия государя на опоздание Чаадаева с известием о восстании в Семеновском полку:

«[...] гусар и доктор философии в отношении к наряду был вместе с тем и совершенная кокетка: по часам просиживал он за туалетом, чистил рот, ногти, протирался, мылся, холился, прыскался духами. Дорогой он предавался тем же упражнениям и оттого с прибытием опоздал двумя сутками»¹¹.

Ту же историю в сокращенном виде повторяют, например, хороший московский знакомый Чаадаева более поздних лет, М.А. Дмитриев¹² и знавший Чаадаева большую часть его жизни Д.Н. Свербеев¹³. История эта, однако, прямо противоречит достоверно известным фактам, и предложить свою версию происшедшего попытался уже М.И. Жихарев, вынужденный, впрочем, строить лишь гипотезы, поскольку сам Чаадаев всегда отказывался говорить об этом. Согласно Жихареву, Чаадаев поддался тщеславному чувству, отправившись с донесением, однако затем был вынужден осознать, что является вестником и одним из орудий кары, которая должна постигнуть его бывших сослуживцев по Семеновскому полку – получить ближайшее почетное назначение, флигель-адъютантство, значило бы получить награду за предательство. Оказавшись в тупике, Чаадаев по размышлению и избрал отставку, оставляющую его совесть и, что гораздо важнее, его честь чистыми¹⁴. Но и эта трактовка была оспорена с большим набором аргументов М.О. Гершензоном, отметившим, что происшедшее никак не повлияло на репутацию Чаадаева среди друзей и знакомых, сослуживцев по Семеновскому полку и по гвардии в целом – никак не отозвавшись в переписке, никогда не упоминаясь: никто не думал ставить ему в вину¹⁵ поездку с официальным донесением от его начальника, гр. Васильчикова к государю. Еще одну версию предложил сравнительно недавно Ю.М. Лотман, полагавший, что Чаадаев в своем поступке ориентировался на литературный образец – маркиза Поэ, отставка была обращена именно к государю как адресату, демонстрируя бескорыстие, и тем самым давая право высказывать свое суждение и вес высказываемому¹⁶.

как правдолюбивое потомство в угодность к своим взглядам хранит предания о нем! Пушкин *гордился моею дружбою*; он говорил, что я *спас от гибели его и его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому*, а г. Бартенев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство, вместо стихов Пушкина, будет читать его Материалы» (II, 272–273). [Здесь и далее все ссылки на издание: Чаадаев П.Я. (1991) Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т. / Отв. ред. З.А. Каменский. – М.: Наука, 1991 – даются в тексте, римская цифра указывает номер тома, арабская – номер страницы.]

¹¹ Вигель Ф.Ф. Записки: Б 2 кн. Кн. 2. – М.: Захаров, 2003. С. 982.

¹² Дмитриев М.А. Главы из воспоминаний моей жизни / Подгот. текста и примеч. К.Г. Боленко, Е.Э. Ляминой и Т.Ф. Нешумовой; вступ. ст. К.Г. Боленко и Е.Э. Ляминой. – М.: Новое литературное обозрение, 1998. С. 365.

¹³ Свербеев Д.Н. Мои записки / Изд. подгот. М.Б. Батищев, Т.Б. Медведева; отв. ред. С.О. Шмидт. – М.: Наука, 2014. С. 519–520.

¹⁴ См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 71–80.

¹⁵ См.: Гершензон М.О. Указ. соч. С. 389–391.

¹⁶ См.: Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). – СПб.: Искусство-СПб., 1994. С. 346–352.

Вопреки столь изощренной версии, как последняя, видимо, стоит согласиться с М.О. Гершензоном, искавшим истоки решения в религиозном кризисе, переживаемом Чаадаевым. Об отставке он начинает писать гораздо раньше событий в Семеновском полку – извещая брата, что прошение его удовлетворено, он говорит:

«Итак, ты свободен, весьма завидую твоей судьбе и воистину желаю только одного: возможно скорее оказаться в том же положении. Если бы я подал прошение об увольнении в настоящую минуту, то это значило бы просить о милости; быть может, мне и оказали бы ее – но как решиться на просьбу, когда не имеешь на то права? Возможно, однако, что я кончу этим» (II, 10–11, письмо от 25 марта 1820 г.).

А тетушке, извещая о том, что отставка подана (но еще не принята), Чаадаев пишет, рассказав об обоснованности слухов о предстоящем ему флигель-адъютантстве:

«Я нашел более забавным презреть эту милость, чем получить ее. Меня забавляло выказывать мое презрение людям, которые всех презирают. В сущности, я должен вам признаться, что я в восторге от того, что уклонился от их благодеяний, ибо надо вам сказать, что нет на свете ничего более глупо высокомерного, чем этот Васильчиков, и то, что я сделал, является настоящей шуткой, которую я с ним сыграл. Вы знаете, что во мне слишком много истинного честолюбия, чтобы тянуться за милостью и тем нелепым уважением, которое она доставляет. [...] Я предпочитаю позабавиться лицемерием досады высокомерной глупости» (II, 14–15, письмо от 2 января 1821 г.).

Как бы то ни было, в феврале 1821 г. отставка была получена, и следующие два с небольшим года Чаадаев проводит отчасти в Москве, отчасти в деревне, чтобы летом 1823 г. отправиться в заграничное путешествие. Первоначально он должен был ехать в Любек, чтобы принимать морские ванны вблизи Гамбурга, но приехав в Кронштадт, взглянув на совершенно не понравившийся ему немецкий корабль и наблюдая рядом другой, английский, готовящийся к отплытию в Лондон, передумал – «не мог утерпеть и решил ехать на нем. [...] Позабыл было, ты, – обращался он к брату, – верно, спросишь, что же ванны морские? – да разве в Англии нет моря?» (II, 20, письмо от 5 июля 1823 г.). По письмам этих лет трудно догадаться, что его тревожит и не дает покоя – он с трудом поддерживает переписку, задерживаясь с самым срочным ответом на полтора месяца, перевозит за собой уже написанное письмо из Лондона в Париж, чтобы наконец собраться с силами и отправить его на родину, но будучи образцом благовоспитанности и приличий, ничуть не обременяет своих корреспондентов содержанием переживаний, обычно выдерживая легкий тон. Хотя «дневник Чаадаева», обширно цитируемый Гершензоном, оказался не принадлежащим ему¹⁷, да и склонности к индивидуальной мистике Чаадаев нигде не демонстрирует (его религиозность, если позволительно так выразиться, носит исключительно интеллектуальный характер), но перемена в нем происходит разительная за десятилетие, прошедшее между отставкой и возвращением в московское общество. Пропутешествовав три года, посетив, помимо Англии, Францию, Швейцарию и Италию, где вместе с Н.И. Тургеневым осматривал Рим, побывав на Карлсбадских водах, где познакомился с Ф.В.Й. Шеллингом, и затем надолго задержавшись – по собственной болезни и по душевной болезни брата Н.И. Тургенева, Сергея, кото-

¹⁷ См.: *Шаховской Д.И., кн. Якушкин и Чаадаев // Декабристы и их время. Т. II.* – Шаховскому удалось доказать ошибку Гершензона, последовавшего за М.И. Жихаревым, обнаружившим дневник в бумагах, оставшихся от Чаадаева, – в действительности дневник принадлежит многолетнему его другу, товарищу по Московскому университету Д.А. Облеухову, скончавшемуся в 1827 г.

рому стал заботливой сиделкой до приезда его родных, – Чаадаев возвращается в Россию (вынужденный в Брест-Литовске давать показания по делу о причастности к декабристскому мятежу) и в сентябре 1826 г. оказывается в Москве, где, в частности, присутствует на чтении Пушкиным «Бориса Годунова», но уже в следующем месяце уезжает в подмосковное имение своей тетки. Затворником он проживет ближайшие несколько лет, общаясь с очень небольшим кругом, соседским, преимущественно женским: в эти годы в него влюбится (безответно – как и все прочие равнодушные к нему дамы) Авдотья Сергеевна Норова (1799–1833)¹⁸, рядом с которой он велит себя похоронить в Донском монастыре¹⁹ (I, 573), познакомится с Екатериной Дмитриевной Пановой (1804 – после 1858). Последняя встреча и завязавшаяся переписка послужит возникновению цикла «Философических писем...». Отвечая на ее письмо, Чаадаев приступит к изложению своих уже давно обдумываемых идей: работа увлечет его, письмо адресату вряд ли вообще будет отправлено, но найденная форма окажется идеально соответствующей тому, что и как хотел сказать Чаадаев.

Эти годы он живет в Москве – деревенская жизнь совсем не пришлась ему по духу, но практически не выходит и нигде не появляется. Одно из немногочисленных свидетельств этого времени принадлежит жене И. Д. Якушкина, не последовавшей за ним в Сибирь, а оставшейся с двумя малыми детьми в Москве, писавшей мужу 24 октября 1827 г.:

«Пьер Чаадаев провел у нас целый вечер. Мне кажется, что он хочет меня обратить. Я нахожу его весьма странным и, подобно всем тем, кто только недавно ударился в набожность, он чрезвычайно экзальтирован и весь пропитан духом святости. [...] Пьер Чаадаев сказал мне, что я говорю только глупости, что слово счастье должно быть вычеркнуто из лексикона людей, которые думают и размышляют. Я тоже сказала ему, что он говорит глупости, не так прямо, как он изволил мне сказать, но вполне вежливо. Под конец он согласился, что это могло бы быть правдой. Он обещал мне принести главу из Монтеня, единственного, кого можно, по его словам, читать с интересом. Но если бы ты его видел, ты нашел бы его весьма странным. Ежеминутно он закрывает себе лицо, выпрямляется, не слышит того, что ему говорят, а потом, как бы по вдохновению, начинает говорить. Маменька слушает его с раскрытым ртом и повторяет след за Мольером: „О великий человек“ а я говорю потихоньку „Бедный человек“» (П, 305–306).

Московский хроникер С.П. Жихарев писал А.И. Тургеневу почти два года спустя, 6 июля 1829 г.:

«[Чаадаев] Сидит один взаперти, читая и толкуя по-своему Библию и отцов церкви»²⁰.

Когда он вновь выйдет в московское общество в 1831 г.²¹, его старый знакомый А.И. Тургенев найдет его чрезвычайно изменившимся:

¹⁸ Сестра Александра и Абрама Норовых – последний в дальнейшем, с 1853 по 1858 г., будет занимать пост министра народного просвещения.

¹⁹ Предоставляя, впрочем, душеприказчику выбор – другим вариантом было быть похороненным рядом с Екатериной Гавриловной Левашовой (ум. 1839), в доме которой на Новой Басманной Чаадаев в 1833 г. снимет флигель, из которого не переедет и после продажи дома семейством Левашовых.

²⁰ Жихарев С.П. Записки современника: Б 2 т. Т. II. – М., Л., 1934. С. 428.

²¹ Об этом повороте в жизни Чаадаева сохранился известный рассказ Жихарева: «Профессор Альфонский (потом ректор Московского университета), видя его в том нестерпимом для врача положении, которое на обыкновенном языке зовется „ни в короб, ни из короба“, предписал ему „развлечение“, а на жалобы: „Куда же я поеду, с кем мне видеться, как где быть?“ – отвечал тем, что лично свез его в московский Английский клуб. В клубе он встретил очень много знакомых, которых и сам был доволен видеть и которые и ему обрадовались. Чаадаев, из совершенного безлюдья очутившийся в обществе, без всякого преувеличения мог быть сравнен с рыбой, из сухого места очутившейся в воде, с волком, из клетки попавшим

«Был я у Петра Яковлевича. Нашел его весьма изменившимся: постарел, похудел, и почти весь оплешивел. [...] Сначала я ничего не заметил, что бы могло оправдать мнение тех, кои полагают его слишком задумчивым; но после я увидел, что одна мысль, религиозная – о коей он и пишет – слишком исключительно занимает его, и что он почитает себя слишком больным и слабым, хотя, впрочем, точно он на вид очень похудел» (II, 307, письмо к Н.И. Тургеневу от 2 июля 1831 г.).

С того времени, как Чаадаев вернулся в общество, жизнь его потекла без особых перемен вплоть до кончины – двадцать пять лет он был постоянным участником московских споров, салонных разговоров, язвительным комментатором происходящего. Потрясение, вызванное реакцией на публикацию «Философического письма...», вскоре прошло:

«Когда [...] его история окончилась и он опять воротился в свет, его приняли и с ним обошлись так, как будто бы с ним ничего не случилось. Сначала в продолжение двух, трех, много четырех годов от него отчасти сторонились, мало, впрочем, заметное число более или менее официальных, или, быть может, более или менее трусливых людей, да несколько видных тузов обоего пола, недовольных и разгневанных его мнениями, которых они, однако же, подробно и в ясной точности никогда не знали. С прошествием времени и это явление совершенно исчезло. Тузы не замедлили разобраться по кладбищам, официальные люди перестали дичиться, а к робким возвратилась бодрость»²².

Д.Н. Свербеев вспоминал: «С 1827 по 1856-й г. Чаадаев безвыездно прожил в Москве и около 25 лет на одной квартире²³ в Новой Басманной, в доме почетного гражданина Шульца, принадлежавшем прежде близкому ему семейству Левашовых. Живя на одном месте, он до того сделался рабом своих комфортабельных привычек, что все эти 30 лет ни разу не мог решиться провести ночь вне города, хотя многие из его родных и друзей радушно и настойчиво приглашали его в свои подмосковные, придумывая всевозможные удобства для такой легкой поездки и желая доставить хозяину дома возможность перекрасить на его квартире полы и стены и поправить к осени печи. Ему и самому очень хотелось освежиться деревенским воздухом, но привычка брала над ним верх»²⁴. Все эти годы он потихонечку разорялся, точнее, был уже фактически разорен, не столько из-за излишеств, сколько по неспособности разумно распоряжаться деньгами. Брат его продолжал выплачивать ему «проценты» с несуществующего капитала, а он делал все новые долги и винил брата, насчитывая на нем воображаемые долги. Дела его в последние пару лет могли бы обернуться совсем печально – но здесь он умер:

«Тогда говорили и говорили чрезвычайно верно, что он во всю свою жизнь все делал отменно ловко и кончил тем, что отменно ловко умер»²⁵.

в лес, пожалуй, с Наполеоном, из английского плена вдруг увидевшим себя свободным в Европе, во главе трехсот тысяч солдат. Побывавши в клубе, увидав, что общество устает от его еще вниманием, он стал скоро и заметно поправляться, хотя к совершенному здоровью никогда не возвращался. С тех пор, без дальних околичностей, он объявил профессора Альфонского человеком добродетельным [...], своим спасителем, оказавшим ему услугу и одолжен не врача просто, а настоящего друга» [Жихарев М.И. Указ. соч. С. 85].

²² Жихарев М.И. Указ. соч. С. 107.

²³ С 1833 г.

²⁴ Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 528.

²⁵ Жихарев М.И. Указ. соч. С. 80.

Бумаги свои он передал Михаилу Ивановичу Жихареву – «племяннику», а в действительности довольно дальнему его родственнику, с которым он чрезвычайно сблизился в последние полтора десятилетия. Избранный им наследник вполне оправдал надежды завещателя, по крайней мере он сделал все, что было в его силах, опубликовав у о. Ивана Гагарина избранные сочинения Чаадаева, пытаясь издать перевод «Апологии...» в «Современнике» (за подготовку рукописи брался Н.Г. Чернышевский, но публикация не состоялась), написал в 1865 г. биографию – остающуюся ценнейшим источником сведений, поскольку многие из них основываются на устном предании и разговорах с Чаадаевым²⁶:

«Жихарев трогательно заботился о сохранении в русском обществе памяти о Чаадаеве, например, рассылал знакомым и незнакомым людям, знавшим мыслителя, фотографические снимки с картины К. Бодри, где изображен чаадаевский кабинет в Москве»²⁷ – это доходило иногда до комизма, так, И.С. Тургенев писал брату Николаю в 1869: «Посылка г-на Жихарева (которого я, впрочем, не знаю) состоит в фотографии чаадаевского кабинета: мне уж доставили 8 таковых фотографий, и я начинаю думать, что это мистификация»²⁸. А 8 июля 1872 г. М.И. Жихарев писал издателю и редактору «Вестника Европы» М.И. Стасюлевичу, в котором за предыдущий год ему удалось издать целую серию материалов Чаадаева и о Чаадаеве: «Чувствуя живейшее желание, чтобы хозяин журнала, в котором Александром Николаевичем Пыпиным так много сделано для памяти покойного Чаадаева, имел у сего в его воспоминание какую-нибудь безделицу из его вещей, позволяю себе вместе с этим к вам препроводить одно из его кресел, его портрет с собственноручной подписью и подсвечник, им когда-то купленный в Лондоне, бывший у него в постоянном употреблении и без которого его одного у себя в комнате в ночное время себе вообразить невозможно. Позвольте вас убедительно просить эти вещи принять благосклонно» (I, 756–757), на что уже Стасюлевич писал Пыпину: «Сию минуту получил от нашего милого чудака М.И. Жихарева письмо с тремя вещами Чаадаева: портрет, подсвечник и кресло. Посылаю вам львиную долю для кабинета» (I, 757).

Впрочем, как видно и из биографии, написанной Жихаревым, его любовь не была слепой – он восхищался Чаадаевым, но умел отнестись к недостаткам и слабостям его как к тому, что не умаляет его достоинств – и быть проникательным судьей его текстов. Так, в письме к А.Н. Пыпину от 20 января 1871 г. он отмечает:

«[...] вся совокупность сочинений Чаадаева носит на себе некоторый характер однообразия, весьма изысканный и понятный, но от того не меньше довольно огорчительный и до некоторой степени ведущий к скуке и утомлению. И странное дело, в то бесконечное количество раз при жизни Чаадаева, когда с ним вместе разговаривали об всей целостности его деятельности, ни ему, ни мне эта ее черта ни разу не приходила в голову. И поразила она меня только годов семь после его конца, когда по издании „Oeuvres Choiesies“ я стал окончательно и усиленно заниматься приведением в порядок последних бумаг» (I, 714).

²⁶ Опубликовано: Петр Яковлевич Чаадаев. Из воспоминаний современника // Вестник Европы. – 1871, № 7, 9. – Полный текст впервые опубликован в издании: Жихарев Д.И. Указ. соч. С. 48–118.

²⁷ Цимбаев Н.И. [Комментарии] // Жихарев М.И. Указ. соч. С. 359.

²⁸ Цимбаев Н.И. [Комментарии] // Жихарев М.И. Указ. соч. С. 359.

Мы же, со своей стороны, полагаем, что это впечатление – результат особенностей мыслей Чаадаева, о своеобразии которых и пойдет речь далее.

Распространение и попытки опубликовать «Философические письма»

Расхожим является утверждение, что Петр Яковлевич Чаадаев к моменту публикации первого «Философического письма к даме» в «Телескопе» Надеждина уже существенно пересмотрел свои взгляды. От этого реакция публики и правительства, вызванная текстом, но обращенная на автора, была во многом ложной – его карали за взгляды, которых он уже не разделял, за утверждения, от которых он во многом успел отказаться.

На первый взгляд подобное утверждение выглядит более чем обоснованным: за ним стоит анализ серии писем Чаадаева 1832–1836 гг. разным адресатам, его суждений, нашедших отражение в печати (хотя Мандельштам и утверждал, что «лучше не касаться „Апологии“»). Конечно, не здесь сказал Чаадаев то, что он думал о России»²⁹, но сказанное Чаадаевым в «Апологии... «если чем и отличается от сказанного им же двумя-тремя годами ранее, то разве что интонацией, переходом от частного письма к публичному тексту и желанием оправдаться – представить иную аранжировку ранее высказанных идей.

И тем не менее этому утверждению противоречат известные нам обстоятельства, а именно – настойчивое желание Чаадаева добиться опубликования «Философических писем», причем именно в те годы, когда вроде бы приходится говорить об изменении его взглядов.

Почти сразу же по выходе из уединения и возвращении к жизни московских гостиных Чаадаев охотно знакомит с текстом своих «Философических писем» знакомых и не препятствует дальнейшему распространению. В написанных вскорости после смерти Чаадаева воспоминаниях о нем Д.Н. Свербеев³⁰ рассказывал:

«Я читал некоторые из этих писем (*и кто из людей, ему коротких, не читал их в это время?* [выд. нами. – А.Т.] и насколько могу теперь припомнить, все они были довольно запутанного содержания»³¹.

М.П. Погодин, в это время еще «мало знакомый с Чаадаевым, читал одно из них (вероятно, первое), уже весною 1830 года»³².

В 1831 г. Чаадаев передает рукопись нескольких писем Пушкину перед его возвращением в Петербург – с надеждой опубликовать их в столице, где Пушкин рассчитывал на книгопродавца и издателя Ф.М. Беллизара³³:

«Вероятно, – пишет М.И. Гиллельсон, – по приезде [...] Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева³⁴), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать [...]»³⁵.

²⁹ Мандельштам О.Э. (1971 [1915]) Петр Чаадаев // Собрание сочинений: В 3 т. Т. 2: Проза. Изд. 2-е, пересмотр, и доп. / Под ред. Г.П. Струве и Б.А. Филиппова, вступ. ст. Б.А. Филиппова. – Париж: Международное литературное содружество. С. 288.

³⁰ Чаадаев скончался 14 апреля 1856 г., а предваряющее рукопись воспоминаний письмо к сыну, А.Д. Свербееву, датировано автором 11 мая 1856 г. [текст письма приведен в комментариях к изданию «Записок»: Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 843–844].

³¹ Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 523.

³² Гершензон М.О. Указ. соч. С. 440.

³³ Пушкин А.С. Письма. Т. III. 1831–1833 / Под ред. и с прим. Л.Б. Модзалевского. – М., Л.: Academia, 1935. С. 334.

³⁴ 23 августа 1831 г. В.А. Жуковский писал А.И. Тургеневу: «Манускрипт Чаадаева он [т. е. Пушкин. – А.Т.] давал мне читать и взял его у меня, чтобы отправить к Чаадаеву. Вероятно, что он уже и получен» [Жуковский В.А. Письма В.А. Жуковского к А.И. Тургеневу. – М., 1895. С. 258]. Вопреки мнению М.И. Гиллельсона, полагавшего, что Чаадаев получил

В ноябре 1832 г. Чаадаев вновь попытается издать те же письма, VI и VII, теперь уже в Москве, в типографии А.И. Семена (*там же*), тем более что в № 11 «Телескопа» выходит его небольшой фрагмент «Об архитектуре», заслуживший лестную оценку со стороны Ф. Голубинского, которого А.П. Елагина просила помочь прохождению текста писем через цензуру, однако последнего он не смог сделать, отвечая:

«[...] первые страницы, где показывается неосновательность Протестантских воззрений против католической церкви, признаны не содержащими в себе ничего сомнительного. Но те места, где сочинитель приписывает первенство Церкви Западной, где говорит, что Папство существенно происходило из истинного духа христианства; также где представляет Моисея как Законодателя, своею силою основавшего веру в единого Бога, и пользовавшегося необыкновенными средствами к достижению сей цели, как человека, говорившего к людям из среды метеора, здешний Цензурный Комитет не мог одобрить. И я не мог и не хотел защищать их; ибо поступая так, я пошел бы против истины и против присяги» (II, 527, письмо от 1 февраля 1833 г.)³⁶.

Потерпев последовательно неудачу в Петербурге и в Москве, Чаадаев в следующем году пишет к кн. П.А. Вяземскому, обсуждая и прикидывая разные возможные варианты публикации, надеется, что столичная цензура будет снисходительнее московской и склоняется к тому, чтобы письма вышли в каком-нибудь журнале:

«Если она увидит свет в одном из периодических сборников, то будет еще большая свобода действий; можно будет выбрать несколько писем, не соблюдая последовательности, и представить их в форме отрывков» (II, 89, письмо от 9 марта 1834 г.).

Так он и поступит в 1836 г. — как известно, в портфеле редакции «Телескопа» находилось по меньшей мере еще одно из «Философических писем», а по сообщению М.К. Лемке, «в 1835 или 1836 году [Чаадаев] отдает два письма открывшемуся тогда „Московскому Наблюдателю“ где они не появляются» (Лемке, 1909: 402) и, как веско отмечал М.О. Гершензон, вполне возможно, что мы знаем только о части подобных попыток (Гершензон, 2000 [1908]: 441). В 1834 г. Чаадаев в письме к кн. П.А. Вяземскому сообщал, отчего считает желательным опубликовать текст именно в России:

«Как вы понимаете, мне было бы легко опубликовать это за границей. Но думаю, что для достижения необходимого результата определенные идеи должны исходить из нашей страны, из России. Такое мнение составляет часть всей совокупности моих мыслей» (II, 88, письмо от 9 марта 1834 г.).

До 1988 г. считалось, что в дальнейшем Чаадаев был вынужден под влиянием постигших его неудач пройти через цензуру, отказаться от изложенной Вяземскому позиции и предпринять в 1835 г. попытку опубликовать одно из своих «Писем» во Франции, для чего он обратился к А.И. Тургеневу (II, 93–94), однако последний ответил отказом, не рискуя

оригинал своей рукописи в августе 1831 г. [Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Сквозь «умственные плотины»: Очерки о книгах и прессе пушкинской поры. — 2-е изд., доп. — М.: Книга, 1986. С. 172], и В.В. Сапова, предположившего (на основании письма А.И. Тургенева к Пушкину от 29 октября 1831 г., из которого ясно, что Чаадаев еще рукопись не получил), что Пушкин вернул ее Чаадаеву лично в свой московский приезд в декабре 1831 г. — еще в январе 1832 г. Чаадаев не располагал оригиналом, как явствует из недавно опубликованного письма А.П. Елагиной к Жуковскому от 11 января 1832 г., в котором она в числе прочего передает: «Также Чаадаев вас просит прислать его тетрадь, которую отдал вам Пушкин» [Переписка В. А. Жуковского и А.П. Елагиной: 1813–1853 / Сост., подгот. текста, ст. и коммент. Э.М. Жиляковой. — М.: Знак, 2009. С. 376].

³⁵ Вацуро В.Э., Гиллельсон М.И. Указ. соч. С. 172.

³⁶ Официальное постановление цензурного комитета от 31 января 1833 г. см.: II, 536–538.

«взять на себя ответственность за подобную публикацию» (*Вацуро, Гиллельсон, 1986: 172*, со ссылкой на письмо А.И. Тургенева к П.Я. Чаадаеву от 22 августа/3 сентября 1835 г.³⁷). Но после публикации Б.Н. Тарасовым русского перевода письма Чаадаева, обращенного к Луи-Филиппу³⁸, появилась некоторая вероятность, что просьба о помещении «письма» в каком-нибудь подходящем французском издании относится именно к данному тексту. Таким образом теперь можно с некоторыми основаниями допустить (ср.: I, 691 и II, 317–318), что для Чаадаева не только стремление опубликовать свой текст именно в России было принципиальным, но от этого намерения он никогда не отказывался – публиковать все или только часть из них зависело от возможностей пройти цензуру, но если письма могли быть опубликованы избирательно, то каждое из них рассматривалось автором как законченное произведение, всякий элемент которого хорошо продуман и потому надлежит стремиться избегать любых изъятий. Чаадаеву было удобно работать в эстетике «фрагмента», но каждый фрагмент представлял идеально отшлифованным и соразмерным в своих частях:

«Чтобы угодить цензуре, я бы предпочел исключить некоторые письма, но не искажать текст» (II, 89, письмо к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1834 г.).

В письме к Пушкину от 17 июля 1831 г., побуждая того активно способствовать напечатанию фрагментов своего сочинения, Чаадаев объяснял свои мотивы: «Постарайтесь [...], прошу вас, чтобы мне не пришлось слишком долго дожидаться моей работы, и напишите мне поскорее, что вы с ней сделали. Вы знаете, какое это имеет значение для меня? Дело не в честолюбивом эффекте, но в эффекте полезном. Не то чтоб я не желал выйти немного из своей неизвестности, принимая во внимание, что это было бы средством дать ход той мысли, которую я считаю себя призванным дать миру; но главная забота моей жизни, это довершить ту мысль в глубинах моей души и сделать из нее мое наследие» (II, 67).

³⁷ Исходный вариант этой интерпретации был представлен Гершензоном [Гершензон М.О. Указ. соч. С. 441] с более поздней датировкой, 1836 г. – уточнение датировки см.: Чаадаев П.Я. Сочинения и письма П.Я. Чаадаева / Под ред. М.[О.] Гершензона. – М.: Путь, 1914. С. 196.

³⁸ Тарасов Б.Н. «Преподаватель с подвижной кафедры». Новое и забытое о П.Я. Чаадаеве и его современниках // Литературная учеба. – 1988, № 2; републ.: Чаадаев П.Я. Статьи и письма / Сост., вступ. ст. и коммент. Б.Н. Тарасова. – 2-е изд., доп. – М.: Современник, 1989. С. 389; II, 101–102.

Реакция на «Философические письма»: до и после публикации

Кн. П.А. Вяземский писал Пушкину из Остафьевского московского поместья, как раз в то время, когда в Царском Селе Пушкин читал переданные ему Чаадаевым для опубликования «Философические письма» (см. об этом ниже):

«Чаадаев выезжает: мне все кажется, что он немного тронулся. Мы стараемся приглубить его и ухаживаем за ним.

Между тем сколько есть истинно прекрасного и прекрасно истинного в сочинении его религиозном»³⁹.

К этому письму А.И. Тургенев сделал обширную приписку, целиком посвященную Чаадаеву, – рукопись его вызвала не только интерес, но и весьма оживленное и сочувственное обсуждение⁴⁰. В чем сходились и Пушкин, и А.И. Тургенев (которого Чаадаев незамедлительно познакомил с письмом первого от 6 июля), так это в стремлении отделить «христианство» от конфессии⁴¹. Пушкин пишет, начав, разумеется, с многочисленных похвал в адрес VI и VII «Философических писем»:

«Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской»⁴².

Тургенев со своей стороны подхватывает эти слова и отвечает Пушкину:

«Поставь на место католицизма – христианство, и все будет на месте; но в том-то и ошибка его и предтечей его: Мейстера, Бональда, Ламене, Свечиной.

На словах и в записочках я часто бесил сию превосходно мыслящую четверку тем же замечанием; но они не сдаются ни на рассуждения, ни на историю, *в коей видят только Рим и церковь, а не мир и религию* [выд. нами. – А.Т.]. Чаадаев попал на ту же мысль, или лучше увлечен ими на ту же дорогу, хотя он – *выслушивает и другую сторону*: т. е. читает и протестантов; но находит в них или подтверждение своему взгляду на историю, или сла-

³⁹ *Переписка* А.С. Пушкина: В 2 т. Т. 1 / Вступ. ст. И.Б. Мушиной; сост. и коммент. В.Э. Вацура и др. – М.: Художественная литература, 1982. С. 304, письмо от 14 и 15 июля 1831 г. Ср. схожий отзыв из письма А.И. Тургенева к брату Николаю, от 2 июля 1831 г.: Чаадаев «давал мне прочесть одну тетрадь, и я нашел много хорошего и для других нового, хотя, впрочем, я и не разделяю мнений его» (II, 308).

⁴⁰ Получил рукопись «Философических писем» он всего за несколько дней до этого, впервые увидев Чаадаева с 1826 г. Брата Николая об этой встрече в письме от 2 июля 1831 г. А.И. Тургенев извещал: «Он обнял меня нежно и в первое же свидание отдал мне часть своего сочинения, в роде Мейстера и Ламене, и очень хорошо написанное по-французски» (II, 307).

⁴¹ В последующем Чаадаев подробно выскажется по этому поводу, полемизируя с И.Б. Киреевским, отзываясь на слова последнего о «православном христианстве» («Письмо из Ардатова в Париж», 1845): «Что это за православное христианство? По сие время слышали мы только о церкви православной, хотя, впрочем, в строгом смысле и это не что иное, как плеоназм, но плеоназм, по крайней мере, необходимый для того, чтобы различить церковь, почитающую себя православной, от тех церквей, которых таковыми не почитает; но какая, скажите, была нужда присваивать это прилагательное самому христианству? Разве может быть христианство не православное, т. е. ложное, а все-таки христианство? Разве в области вечного духа непререкаемой правды есть место для какой-нибудь полуправды? Странно, как могли родиться в той именно духовной сфере, которая по праву называет себя единственно истинной, *эта несознательность мысли, эта невнятность христианского понятия, это необдуманное сочетание слов, допускающие как будто возможность христианства хотя и не истинного, однако не теряющего через то права называться христианством* [выд. нами. — А.Т.]» (I, 547–548).

⁴² *Переписка* А.С. Пушкина. Т. 2. С. 275.

бые доказательства, кои спешит обессилить, или устраняется от состязания, когда доводы противников слишком сильны»⁴³.

Иными словами, Пушкин и Тургенев интерпретировали «христианство» в смысле «христианской культуры», как культурный феномен, «религию», а не как Церковь – для Чаадаева речь шла о том, как христианство (в смысле веры и Церкви) оказывается воздействующим на все сферы человеческого существования, так что воздействие веры можно обнаружить в самых далеких от веры делах, но при этом сохраняя принципиальное отличие того, что воздействует, от того, что воздействию подвергается⁴⁴. Церковь действует в истории, но при этом она «больше» истории, не может быть растворена в последней без остатка.

М.А. Дмитриев, один из тех, кому Чаадаев после публикации русского перевода, выполненного Н.Х. Кетчером, послал отдельный оттиск из журнала (I, 581), вспоминал:

«Я читал все эти письма в рукописи: он давал мне их французский подлинник. [...] Первое письмо было особенно замечательно: в нем было много горькой правды, сказанной резко, но метко и красноречиво, хотя и не всегда верно»⁴⁵.

Эффект, произведенный письмом после его опубликования в № 15 «Телескопа» за 1836 г., – следствие, с одной стороны, выхода за рамки своего круга, а с другой – разницы «рукописного» и «опубликованного». Тот же Вяземский, находивший в рукописи множество «истинно прекрасного и прекрасно истинного», спустя пять лет использовал скандал, вызванный публикацией письма, для того чтобы попытаться атаковать образовательную политику Министерства народного просвещения и лично С.С. Уварова, обвинив того в поддержке скептических взглядов, под которыми понимал содержание трудов не только М.Т. Каченовского, но и Н.Г. Устрялова, поскольку последний осмелился критически отнестись к Н.М. Карамзину, которому Вяземский приходился шурином:

«Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в *Телескопе*. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками. Оно просто естественный и созревший результат направления, которое дано исторической нашей критике. Допущенное безверие к писанному довело до безверия к действительному. Подлежащие вам места как будто именем правительства говорили учащемуся поколению: не учитесь Карамзину! Не верьте ему! Не другими ли словами говорили они: не учитесь Русской Истории! Не верьте ей! Ибо нельзя же учиться по белой бумаге и по пустому месту. *Письмо Чаадаева не что иное, в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин* [выд. нами. – А.Т.]. Тут никакого умысла и помысла политического не было. Было одно желание блеснуть новостью воззрений, парадоксами и попытать силы свои в упражнениях по части искажения Русской Истории. [...] Перечтите со вниманием и без предубеждения все, что писано было у нас против *Истории Государства Российского* и самого Карамзина, сообразите направление, мнение и дух нового исторического учения, противопоставленного учению

⁴³ Там же. Т. I. С. 74, письмо от 15 июля 1831 г.

⁴⁴ О философии религии П.Я. Чаадаева см. сжатый, но весьма глубокий очерк: Антонов К.М. Философия религии в русской метафизике XIX – начала XX века. – М.: Изд-во ПСТГХ 2013. С. 37–41.

⁴⁵ Дмитриев М.А. Указ. соч. С. 366, 367.

Карамзина, и из соображений ваших неминуемым итогом выйдет известное письмо, которое так дорого обошлось бедному Чаадаеву»⁴⁶.

В 1875 г. Вяземский вновь изменил свои взгляды (или, по меньшей мере, публичное суждение) о сочинении Чаадаева, возлагая вину на нравы журналистики и на особенности характера автора, целиком поддержав версию об обстоятельствах публикации в «Теле-скопе», изложенную в показаниях Чаадаева 1836 г. (I, 580–581):

«Может быть придал и ему значение не по росту. Во всяком случае прямого отношения к Русской литературе в нем нет. Писано оно было на Французском языке и к печати не назначалось. Любезнейший аббатик, как прозвал его Денис Давыдов, довольствовался чтением письма в среде Московских прихожанок своих, которых был он настоятелем и правителем по делам совести (*directeur de conscience*). Бестактность журналистики нашей с одной стороны, с другой обольщение авторского самолюбия, придали несчастную гласность этой конфиденциальной и келейной ультрамонтанской энциклике, пущенной из Басманского Ватикана»⁴⁷.

Гершензон, заканчивая рассказ о попытке Чаадаева в 1833 г. вернуться на службу, пишет:

«Так кончилась эта классическая история о наивном философе и грубом капрале; но ничего нет мудреного, если в Петербурге уже теперь зародилось подозрение насчет нормальности умственных способностей Чаадаева»⁴⁸.

Однако Вяземский уже в 1831 г. произнес слова о безумии Чаадаева («немного тронулся» – см. его письмо к Пушкину от 14 и 15 июля 1831 г., цитированное ранее). Императору, подыскивавшему слова чтобы оценить поступок Чаадаева, достаточно было прислушаться к голосам друзей и приятелей последнего – обиходная фраза внезапно приобрела окончательность вердикта в резолюции Николая I (22.X. 1836) на докладе Уварова от 20 октября 1836 г.:

«Прочитав статью, нахожу, что содержание оной смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного [...]»⁴⁹ (*Лемке, 1909: 413*).

⁴⁶ Вяземский П.А., кн. (1879). Полное собрание сочинений князя П.А. Вяземского. Т. II. 1827–1851 г. Издание гр. С.Д. Шереметьева. – СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1879. С. 221, 222.

⁴⁷ Там же. С. 214.

⁴⁸ Гершензон М.О. Указ. соч. С. 439.

⁴⁹ Лемке М.К. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. По подлинным делам Третьего отделения Собств. Е.И. Величества канцелярии. Изд. 2-е. – СПб.: Издание С.В. Бунина, 1909. С. 413. Поясняя мотивы императорского решения, австрийский посланник при Петербургском дворе граф Финкельмон в донесении канцлеру Меттерниху от 7.XI.1836 г. писал: «Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом» [цит. по: Вацуро Б.Э., Гиллельсон М.И. Указ. соч. С. 167].

Принцип Чаадаева

И реакция общества, и решение императора, реализованное с усугубляющейся конкретностью по ступеням бюрократической лестницы – от шефа жандармов и министра народного просвещения до московского генерал-губернатора, а от него к чинам полиции, – и оскорбление, которое в 1848 г. попытался нанести Чаадаеву П.В. Долгоруков, рассылая подложное письмо от заезжего врача с предложением исцелить Чаадаева от безумия и тем завоевать себе в московском обществе незыблемую репутацию⁵⁰ – все это вызвано опубликованным текстом «Философического письма к даме».

Прот. Г. Флоровский утверждал: «Чаадаев не был мыслителем в собственном смысле слова. Это был умный человек, с достаточно определившимися взглядами. Но было бы напрасно искать у него „систему“. У него есть принцип, но не система. И этот принцип есть постулат *христианской философии истории*. История есть для него создание в мире *Царствия Божия*. Только через строительство этого Царствия и можно войти или включиться в историю»⁵¹. Сам Чаадаев писал Пушкину нечто весьма схожее: «У меня только одна мысль, вам это известно. Если бы невзначай я и нашел в своем мозгу другие мысли, то они наверное будут стоять в связи со сказанной: смотрите, подойдет ли это вам» (П, 69, письмо от 18 сентября 1831 г.).

Однако те суждения, которые публика увидела в «Философическом письме», не составляли оригинального достояния автора. Относительная распространенность взглядов, высказанных Чаадаевым на прошлое и настоящее России, может быть проиллюстрирована одним, но весьма характерным эпизодом. В известной беседе с «князем К***», приведенной в пятом письме «России в 1839 г.» Астольфа де Кюстина, попутчик автора говорит:

«Русские не учились в той блистательной школе прямодушия, чьи уроки рыцарская Европа усвоила так твердо, что слово *честь* долгое время оставалось синонимом верности данному обещанию, а слово *чести* по сей день почитается священным даже во Франции, забывшей о стольких вещах! Благодетельное влияние крестоносцев, равно как и распространение католической веры, не пошло далее Польши. [...] Покуда Европа переводила дух после многовековых сражений за Гроб Господен, русские платили дань мусульманам, возглавляемым Узбеком, продолжая, однако, как и прежде, заимствовать искусства, нравы, науки, религию, политику с ее коварством и обманами и отвращение к латинским крестоносцам у греческой империи. [...] Абсолютный деспотизм, какой господствует у нас, установился в России в ту самую пору, когда во всей Европе рабство было уничтожено»⁵².

В этих словах видели, вполне резонно, сходство со взглядами Чаадаева – что заставляло предполагать знакомство автора с первым «Философическим письмом... «или личное знакомство с Чаадаевым в Москве»⁵³, – однако там, где де Кюстин излагает взгляды собственно Чаадаева, он демонстрирует незнание с его текстами и повествует, опираясь

⁵⁰ См.: Жихарев М.И. Указ. соч. С. 114–115, 371.

⁵¹ Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. 4-е изд. / Предисл. прот. И. Мейендорфа. – Paris: YMCA-PRESS, 1988. С. 248.

⁵² Кюстин А. де. Россия в 1839 году / Пер. с фр. О. Гринберг, С. Зенкина, В. Мильчиной, И. Стаф. – СПб.: Крига, 2008. С. 75.

⁵³ На данный момент «вопрос о том, состоялось ли личное знакомство де Кюстина с Чаадаевым [...] не поддается удовлетворительному решению» [Мильчина Б.А., Осповат А.А. Комментарий к книге Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году». – СПб.: Крига, 2008. С. 961, ср.: 905].

лишь на «устную легенду о Чаадаеве»⁵⁴. На данный момент, после опубликования «Опыта об истории России» князя Козловского («князя К***»), в которых тот высказывает «соображения, весьма близкие к тем, которые вложены в уста» собеседника де Кюстина, остается лишь вновь признать «точность воспроизведения французским писателем монологов русского собеседника»⁵⁵. Биограф кн. Козловского, Г.П. Струве, центральную главу своего исследования озаглавил «Единомышленник Чаадаева: взгляды Козловского на судьбы России»⁵⁶. У Козловского легко найти и другие суждения и оценки, сходные с тем, что наиболее возмутили властную и читающую публику после телескопической публикации – так, Н.И. Тургенев в письме к брату Сергею от 15/29 ноября 1811 г. из Рима передает известие о своей встрече с князем:

«Я с ним много спорил и просил о таких предметах, которые никакому сомнению не подвержены; он утверждает, что Русский народ никакого характера не имеет»⁵⁷.

Эти и другие подобные суждения позволяют восстановить меру оригинальности Чаадаева – то, что в первую очередь занимало публику оказывалось привлекающим внимание не в силу «парадоксальности» и новизны высказывания, а новизны *публичной речи*, тогда как сказанное было вполне типичным для «русского „религиозного западничества“» характерного для времени Александра I»⁵⁸. И тем не менее различие принципиально:

«Гагарин (а следом за ним почти все, кто писал о Козловском) усматривали в этих высказываниях [князя Козловского. – А.Т.] сходство с тем, как виделась Россия в философии Чаадаева. [...] Но прежде всего следует принципиально разграничить сопоставляемые размышления обоих: одно дело – личные рассуждения экс-дипломата, а совсем другое – идеи, опирающиеся на оригинальную религиозную концепцию философии истории»⁵⁹.

Собственно, Чаадаев не столько высказывает новые оценки – они общие у него с целым рядом других «религиозных западников» как своего, так и предшествующего и последующего поколений (помимо кн. Козловского можно вспомнить, например, уже упомянутого выше кн. Ивана Гагарина, племянника С.П. Свечиной, с которой Чаадаев был также хорошо знаком и регулярно упоминал о ней в письмах к А.И. Тургеневу, интересуясь новостями о ее парижском салоне, постоянным посетителем которого был его корреспондент) – сколько, принимая их как данность, адекватное описание реальности⁶⁰, стремится понять, почему эта реальность такова.

Там, где другие дают практический ответ – принимают католичество, уезжают на Запад навсегда или по меньшей мере на столь долгий срок, как это окажется возможно – Чаадаев

⁵⁴ Мильчина В.А., Основат А.А. Указ. соч. С. 961.

⁵⁵ Там же. С. 767.

⁵⁶ Струве Г.П. Русский европеец. Материалы для биографии и характеристики князя П.Б. Козловского. – Сан-Франциско: Дело, 1950. С. 39–46.

⁵⁷ Цит. по: Струве Г.П. Указ. соч. С. 40.

⁵⁸ Балицкий А. Россия, католичество и польский вопрос / Пер. с польск., послесл. Е.С. Твердисловой. – М.: Изд-во МТУ, 2012. С. 54, прим. 1 к стр. 53.

⁵⁹ Там же. С. 37, 38.

⁶⁰ Д.Н. Свербеев вспоминал о разговорах с Чаадаевым в Берне в 1824 г., во время трехлетнего заграничного путешествия последнего: «На вечерах у меня Чаадаев, оставивший службу [...] и очень недовольный собой и всеми, в немногих словах выражал свое негодование на Россию и на всех русских без исключения. Он не скрывал в своих резких выходках глубочайшего презрения ко всему нашему прошедшему и настоящему и решительно отчаивался в будущем. Он обзывал Аракчеева злодеем, высших властей военных и гражданских – взяточниками, дворян – подлыми холопами, духовных – невеждами, все остальное – коснеющим и пресмыкающимся в рабстве» [Свербеев Д.Н. Указ. соч. С. 377].

дает ответ теоретический, ему важно не только и даже не столько сказать, какова Россия, сколько поместить ее в мировую историю, объяснить, почему она такова.

Схематично ответ на этот вопрос, данный Чаадаевым, общеизвестен: Россия отсутствует в мировой истории как духовный факт именно потому, что смысл мировой истории есть смысл религиозный. Европа, проникнутая этим смыслом, в действительности имеет «общее лицо, семейное сходство» а 326), «еще сравнительно недавно вся Европа носила название Христианского мира и слово это значилось в публичном праве» (I, 327). Члены этого семейства имеют свои частные предания, свои особенности, но они части одного целого. Россия, напротив, не входит в это целое, являясь лишь фактом:

«Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера» (I, 330).

Если угодно, перед нами тавтология – Россия не имеет истории потому что она отъединена от мировой истории (а никакой частной истории быть не может – частное есть последовательность происшествий, смысл же обретается в универсальном или не обретается вообще), а мировая история есть история Царства Божьего, постепенного его установления на земле (см. VIII «Философическое письмо», I, 434–440). Отсутствие собственного смысла приводит к тому, что любое внешнее воздействие легко усваивается и столь же легко отбрасывается, прошлое не становится историей:

«Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает для нас безвозвратно. [...] У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются новыми, потому, что последние не происходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы воспринимаем только совершенно готовые идеи, поэтому те неизгладимые следы, которые отлагаются в умах последовательным развитием мысли и создают умственную силу, не бороздят наших сознаний. Мы растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели» (I, 326).

Таким образом, Чаадаев формулирует ряд последовательных тезисов:

(1) прошлое и настоящее России исключительно – она исключение из порядка народов: «Глядя на нас, можно сказать, что по отношению к нам всеобщий закон человечества сведен на нет» (I, 330);

(2) при этом исключительность эта – целиком негативна, состоит в непричастности мировой истории, отсутствии целей и смыслов, которые придают содержание жизни народов европейских;

(3) но мировая история потому и является историей, а не цепью происшествий, что обладает смыслом – и смысл этот провиденциальный;

(4) следовательно, исключенность России из мировой истории сама должна иметь смысл: «[...] мы жили и сейчас еще живем для того, чтобы преподать какой-то великий урок отдаленным потомкам, которые поймут его; пока, что бы там ни говорили, мы составляем пробел в интеллектуальном порядке» (I, 330);

(5) прямолинейный ответ на этот вопрос дан в самом начале первого «Философического письма»: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода» (I, 325) – этот вариант и был прочитан и услышан публикой, воспринявшей текст Чаадаева как

проповедь католичества. И для такой интерпретации у публики были веские основания, но несколькими страницами позднее в том же тексте Чаадаев отмечает, что предыдущие попытки ни к чему не привели: «Когда-то великий человек вздумал нас цивилизовать и для того, чтобы приохотить к просвещению, кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но к просвещению не прикоснулись. В другой раз другой великий монарх, приобщая нас к своему славному назначению, провел нас победителями от края до края Европы; вернувшись домой из этого триумфального шествия по самым просвещенным странам мира, мы принесли с собой одни только дурные идеи и гибельные заблуждения, последствием которых было неизмеримое бедствие, отбросившее нас назад на полвека»⁶¹ (I, 330);

(6) разумеется, против этого тезиса есть уже готовое возражение в логике самого Чаадаева: предыдущие попытки оказались безуспешны именно потому, что были попыткой заимствовать плоды, без понимания (или без желания понимать), что делает возможным произрастание таких плодов – попыткой стать частью Европы, частью того, что еще не так давно и в публичном праве звалось «Христианским миром», не принимая важнейшего. Но если это так, и России предстоит «вновь повторить у себя все воспитания человеческого рода», то тогда пустота прошлого остается бессмыслицей – «гигантское исключение» так и останется исключением, никак не осмысленным, история для России начнется, но прошедшие века останутся пустотой, отсутствие смысла которой лишь утвердится обретением смысла последующих веков.

Из этого вытекает, что именно сама «пустота» – прошлая и настоящая – должна быть осмыслена положительно, не только как отсутствие, но и как путь к чему-либо – но отнюдь не обязательно в положительном смысле для России. Чаадаев создает матрицу, произвольно допускающую любые варианты пророчествования будущего – либо России надлежит стать уроком для других, примером и поучением, либо ей предстоит столь же исключительное будущее, в котором «пустота» превратится в преимущество.

Те же самые качества, которые теперь являются недостатками или достоинствами, не приносящими плода, способны в будущем обернуться преимуществом. Чаадаев уже в первом письме, прерывая обличение, делает оговорку, мало кем из современных читателей замеченную:

«Я, конечно, не утверждаю, что среди нас одни только пороки, а среди народов Европы одни добродетели, избави Бог. Но я говорю, что

⁶¹ Оценка того исторического феномена, который в последующем получил название «движения декабристов», у Чаадаева не делится между текстами, предназначенными к опубликованию, и текстами частного характера. Так, в оставшемся неотправленным письме к И.Д. Якушкину от 2 мая 1836 г. он аналогично интерпретировал декабристов как очередной пример, подтверждающий его оценку русского настоящего, его безосновности, данную в первом «Философическом письме...»: «Ах, Друг мой, как это попустил господь совершиться тому, что ты сделал? Как мог он тебе позволить до такой степени поставить на карту свою судьбу, судьбу великого народа, судьбу твоих друзей, и это тебе, чей ум схватывал тысячу таких предметов, которые едва приоткрываются для других ценою кропотливого изучения? Ни к кому другому я бы не осмелился обратиться с такою речью, но тебя я слишком хорошо знаю и не боюсь, что тебя больно заденет глубокое убеждение, каково бы оно ни было. Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего – глубины. Мы прожили века так, или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина. Когда восемнадцать веков назад истина воплотилась и явилась людям, они убили ее; и это величайшее преступление стало спасением мира; но если бы истина появилась вот сейчас, среди нас, никто не обратил бы на нее никакого внимания, и это преступление ужаснее первого, потому что оно ни к чему бы не послужило» (II, 105–106).

для суждения о народах надо исследовать общий дух, составляющий их сущность, ибо только этот общий дух способен вознести их к более совершенному нравственному состоянию и направить к бесконечному развитию, а не та или другая черта их характера» (I, 329, ср. сходное: I, 335–336).

Мировая история в любом случае (именно как история) несет в себе смысл – и смысл этот внеисторичен, но суждение о будущем является (лишь) верой – в смысле надежды и упования. Но если надеяться на то, что «урок» предназначен не (только) внешнему зрителю, но и «нам», причем не индивидуально (в смысле обращения в истинную веру), но коллективно, как историческому субъекту – то это значит, раз история еще не началась для России, что ей суждено начаться.

«Пустота» тем самым оборачивается способностью вместить не любое, но *универсальное* содержание – любое конкретное оказывается не имеющим укоренения, оно легко принимается и столь же легко отбрасывается впоследствии, поскольку было произвольным, его принятие вытекало не из внутреннего смысла, не из внутренней потребности, а из случайных обстоятельств – любое другое, удовлетворяющее ту же потребность, могло бы его заместить – и замещает сразу же, как только обстоятельства изменились:

«Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя. И если мы иногда волнуемся, то не в ожидании или не с пожеланием какого-нибудь общего блага, а в ребяческом легкомыслии младенца, когда он тянется и протягивает руки к погремушке, которую ему показывает кормилица» (I, 325).

Но это же отсутствие «своего», преходящесть любого «чужого», которое держится лишь до тех пор, пока на него не пройдет мода и ее не сменит другая – оно же оборачивается преимуществом не только в текстах, написанных вслед за «Философическими письмами...», но и в них же самих – разница в интонации. Если в «Философических письмах...» это приглушено – на первом плане обличение, сначала описание пустоты, безосновности, понижающей все: от частной жизни до общего порядка существования во времени⁶², который и объясняет беспорядок первой, то в текстах последующих нескольких лет на первый план выходят имеющиеся перспективы. Так, в письме к Ф.В.Й. Шеллингу в 1832 г. Чаадаев говорит о «молодом поколении» соотечественников:

«бедное настоящим, но богатое будущим [...], великие судьбины которого не могут быть безразличны мудрецу» (II, 77).

В письме к Николаю I от 1 июля 1833 г. он, предлагая себя для службы по Министерству народного просвещения, высказывает предположение, «что на учебное дело в России может быть установлен совершенно особый взгляд, что возможно дать ему национальную основу, в корне расходящуюся с тощ на которой оно зиждется в остальной Европе, ибо *Россия развивалась во всех отношениях иначе и ей выпало на долю особое предназначение в этом мире* [выд. нами. – А.Т.]» (II, 83). В уже несколько раз цитированном выше, имеющем принципиальную значимость, письме Чаадаева к кн. П.А. Вяземскому от 9 марта 1835 г., в котором он впервые из дошедшей до нас эпистолярный дает название предназначенному им к

⁶² Чтобы научиться «благоразумно жить в данной действительности», обустроить свой быт, перестав существовать так, что «в домах наших мы как будто определены на постой», Чаадаев считает возможным только поговорив «сначала еще немного о нашей стране», добавляя: «при этом мы не отклонимся от нашей темы. Без этого предисловия вы не сможете понять, что я хочу Вам сказать» (I, 324).

опубликованию циклу «Философические письма, адресованные даме» (II, 89), он поясняет причину, вынуждающую его желать их опубликования именно в России:

«Мы находимся в совершенно особом положении относительно мировой цивилизации и положение это еще не оценено по достоинству. Рассуждая о том, что происходит в Европе, мы более беспристрастны, холодны, безличны и, следовательно, более нелицеприятны по отношению ко всем обсуждаемым вопросам, чем европейцы. Значит, мы в какой-то степени представляем из себя суд присяжных, учрежденный для рассмотрения всех важнейших мировых проблем. Я убежден, что на нас лежит задача разрешить величайшие проблемы мысли и общества, ибо мы свободны от пагубного влияния суеверий и предрассудков, наполняющих умы европейцев. И целиком в нашей власти оставаться настолько независимым, насколько необходимо, настолько справедливым, насколько возможно. Прошлое давит на них невыносимо тяжким грузом воспоминаний, навыков, привычек и гнетет их, что бы они ни делали. Исходя из всего этого вы поймете, что я должен сперва исчерпать все возможности публикации в своей стране, прежде чем решиться выступить перед лицом Европы и освободиться от того национального или местного характера, который является частью моих идей» (II, 88–89).

А.И. Тургеневу он пишет год спустя, 1 мая 1835 г.: «Вы знаете, что я держусь того взгляда, что Россия призвана к необъятному умственному делу: ее задача дать в свое время разрешение всем вопросам, возбуждающим споры в Европе. Поставленная вне того стремительного движения, которое уносит там умы, имея возможность спокойно и с полным беспристрастием взирать на то, что волнует там души и возбуждает страсти, она, на мой взгляд, получила в удел задачу дать в свое время разгадку человеческой загадки» (11,92).

Между «Философическими письмами...» и последующими текстами нет водораздела – не только в первых присутствуют все основания его последующих высказываний, но и в последующем Чаадаев вновь повторяет то и, что важнее, с той же интонацией, что было сказано в 1829–1830 гг. и напечатано в 1836 г. Например, в письме к И.Д. Якушкину, предположительно датированном 1838 г., но, возможно, относящемся к чуть более поздним годам, он пишет, начиная с автоцитаты:

«Кто-то сказал, что „нам, русским, недостает некоторой последовательности в уме и что мы не владеем силлогизмом Запада“. Нельзя признать безусловно это резкое суждение о нашей умственности, произнесенное умом огорченным, но и нельзя также его совсем отвергнуть. Никакого нет в том сомнения, что ум наш так составлен, что понятия у нас не истекают необходимым образом одно из другого, а возникают поодиночке, внезапно, и почти не оставляют по себе следа. Мы угадываем, а не изучаем; мы с чрезвычайною ловкостью присваиваем себе всякое чужое изобретение, а сами не изобретаем; мы постепенно не знаем ни в чем; мы схватываем вдруг, но зато и многое из рук выпускаем. Одним словом, мы живем не продолжительным размышлением, а мгновенною мыслью. Но отчего это происходит? Оттого, что мы не последовательно вперед продвигались; оттого, что мы на пути нашего беглого развития иное пропускали, другое узнавали не в свое время, и таким образом очутились, сами не зная как, на том месте, на котором теперь находимся. Если же мы желаем не шутя вступить на поприще беспредельного совершенствования человечества, то мы должны непременно стараться все будущие наши понятия приобретать

со всевозможною логическою строгостью и обращать всего более внимания на методу учения нашего. Тогда может быть перестанем мы хватать одни вершки, как то у нас до сих пор водилось, тогда раскроются понемногу все силы глубокомыслия и стройная дума; тогда мы научимся постигать вещи во всей их полноте, и наконец сравняемся не только по наружности, но и на самом деле, с народами, которые шли иными стезями и правильнее нас развивались, а может статься, и быстро перегоним их, потому что мы имеем перед ними великие преимущества, бескорыстные сердца, простодушные верования, потому что мы не удручены подобно им тяжелым прошлым, не омрачены закоснелыми предрассудками, и пользуемся плодами всех их изобретений, напряжений и трудов» (II, 128–129).

Вопреки расхожим представлениям⁶³; исторический скепсис Чаадаева относительно будущего России не уменьшается; а начинает расти после 1835 г. – «Апология сумасшедшего» в этом плане представляет собой не перемену взглядов и не «уступки»⁶⁴; а, напротив; последний значимый отголосок его настроений первой половины 1830-х гг. Все надежды на великую будущность основываются им в «Апологии... «на том же представлении о России как о не имеющей прошлого – и именно потому способной иметь будущее:

«Петр Великий нашел у себя только лист белой бумаги и своей сильной рукой написал на нем слова *Европа* и *Запад*; и с тех пор мы принадлежим к Европе и Западу. Не надо заблуждаться; как бы велик ни был гений этого человека и необычайна энергия его воли то; что он сделал; было возможно лишь среди нации; чье прошлое не указывало ей властно того пути по которому она должна была идти; чьи традиции были бессильны создать ей будущее; чьи воспоминания смелый законодатель мог стереть безнаказанно. Если мы оказались так послушны голосу государя; звавшего нас к новой жизни то это; очевидно; потому что в нашем прошлом не было ничего; что могло бы оправдать сопротивление» (I; 527; ср.: I; 501; фр. 204).

Но именно в эти годы позиция Чаадаева начинает существенно меняться – его ожидания великого будущего предполагали имперское видение, универсальная монархия тем лучше могла осуществить свою задачу что опиралась на народ, не имеющий ничего частного – и, следовательно, способный воспринять в себя всеобщее. В его кабинете висели рядом два портрета – Папы и императора Александра I⁶⁵, память которого он чтит до самой смерти⁶⁶. В письме к А.И. Тургеневу, приходящемся на осень 1835 г., Чаадаев замечает:

«И почему бы я не имел права сказать и того, что Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику; что *ее дело в мире есть политика рода человеческого* [выд. нами. – А.Т.]; что Император Александр прекрасно понял это, и что это составляет лучшую славу его; что Провидение создало нас слишком великими, чтоб быть эгоистами; что оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы человечества; что все наши мысли в жизни, науке, искусстве должны

⁶³ См., напр.: Балицкий А. Указ. соч. С. 53.

⁶⁴ Вопреки, напр., мнению: Карпович М.М. (2012) Лекции по интеллектуальной истории России (XVIII – начало XX века) / Пер. с англ. А.И. Кырлежева; Е.Ю. Моховой; вступ. ст. Н.Г.О. Перейры; предисл. С.М. Карповича; примеч. П.А. Трибунского. – М.: Русский путь; 2012. С. 97.

⁶⁵ А.И. Тургенев писал брату Николаю 2 июля 1831 г., увидев Чаадаева после более чем четырехлетнего затворничества: «Повел меня в свой кабинет и показал твой портрет между людьми, для него любезнейшими: импер [атором] Александром и Папою» (II, 307).

⁶⁶ См., напр., письмо к А.Я. Булгакову от 25 июля 1853 г. (II, 266).

отправляться от этого и к этому приходить; что в этом наше будущее, в этом наш прогресс; что мы представляем огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо безусловного соотношения к его настоящему; что в этом наша действительная логическая данность; что *если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий прогресс во веки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей* [выд. нами. – А.Т.]» (II, 96).

Именно в 1835 г., с того времени, как доктрина «народности» провозглашается в качестве официальной и одновременно появляются и распространяются разные ранние изводы националистических доктрин, Чаадаев все более мрачно смотрит на происходящее и на перспективы России с точки зрения своей историософии. Отзываясь на триумфальную постановку «Скопина-Шуйского» Кукольника в письме к А.И. Тургеневу от 1 мая 1835 г., он быстро переходит от возмущения по поводу драмы к обсуждению тех тенденций, которые она одновременно знаменует и поддерживает:

«В настоящую минуту у нас происходит какой-то странный процесс в умах. Вырабатывается какая-то национальность, которая, не имея возможности обосноваться ни на чем, так как для сего решительно отсутствует какой-либо материал, будет, понятно, если только удастся соорудить что-нибудь подобное, совершенно искусственным созданием. Таким образом, поэзия, искусство, все это рухнет в бездну лжи и обмана, и это в тот век, когда, в других местах, огромный анализ расправляется с последними остатками иллюзий в области понимания. В настоящее время невозможно предвидеть, куда нас это приведет; быть может, в глубине всего этого скрывается некоторое добро, которое и проявится в назначенный для сего час; возможно, что это тоже своего рода анализ, который приведет нас в конце концов к сознанию того, что мы должны искать обоснования для нашего будущего в высокой и глубокой оценке нашего настоящего положения перед лицом века, а не в некотором прошлом, которое является не чем иным, как небытием. Как бы то ни было, в ожидании того, что предначертания Провидения станут явными, это направление умов представляется мне истинным бедствием. [...] если это направление умов продолжится, мне придется проститься с моими прекрасными надеждами: можете судить, чувствую ли я себя ввиду этого счастливым. Мне, который любил в своей стране лишь ее будущее, что прикажете мне тогда делать с ней? Этой точке зрения, свободной от всяких предрассудков, от всяких эгоизмов, замедляющих еще в старом обществе конечное развитие разума, точке зрения, к которой принуждает нас самая природа вещей, этому могучему порыву, который должен был перенести нас одним скачком туда, куда другие народы могли прийти лишь путем неслыханных усилий и пройдя через страшные бедствия, этой широкой мысли, которая у других могла быть лишь результатом духовной работы, поглотившей целые века и поколения, предпочитают узкую идею, отвергнутую в настоящее время всеми нациями и повсюду исчезающую. Ну что ж, пусть будет так; я больше в это вмешиваться не стану. Я громко высказал свою мысль, остальное будет делом Бога» (II, 91–93).

М.Ф. Орлову Чаадаев писал уже в 1837 г., после «философической истории»: «Некогда я мечтал, что мне дано распространять среди них [своих друзей. – А.Т.] кое-какие святы истины, и я говорил с ними, и подчас они слушали меня. Но в один прекрасный день

нагрянул ураган, самум подул; и поднялся тогда прах пустыни, забил души и заглушил мой голос. Да будет воля Твоя, о мой Боже, суды твои всегда праведны, и надежды наши всегда тщетны. А все же это был прекрасный сон и сон доброго гражданина. Почему мне не сказать этого? Я долгое время, признаться, стремился к отрадному удовлетворению увидеть вокруг себя ряд целомудренных и строгих умов, ряд великодушных и глубоких душ, чтобы вместе с ними призвать милость неба на человечество и на родину. *Я думал, что страна моя, юная, девственная, не испытывающая жестоких волнений, оставивших повсюду в других местах глубокие следы в умах и поныне столь часто отвращающих умы от добрых и законных путей, чтобы бросить их на пути дурные и преступные, предназначена первая провозгласить простые и великие истины, которые рано или поздно весь мир должен принять; что России выпала величественная задача осуществить раньше всех других стран все обетования христианства, ибо христианство осталось в ней незатронутым людскими страстями и земными интересами, ибо в ней оно, подобно своему божественному основателю, лишь молилось и смирилось, а потому мне представлялось вероятным, что ему здесь дарована будет милость последних и чудеснейших вдохновений* [выд. нами. – А.Т.].

Химеры, мой друг, химеры все это! Да совершится будущее, каково бы оно ни было, сложим руки и будь что будет, или, склонившись перед святыми иконами, как наши благочестивые и доблестные предки, эти герои покорности, станем ждать в молчании и мире душевном, чтобы оно разразилось над нами, какое бы то ни было, доброе или злое» (II, 125–126).

Тем не менее и в последующие почти два десятилетия, что ему оставалось жить, Чаадаев принципиально не изменил свои взгляды, лишь с возрастающим сарказмом наблюдая текущую политику и увлечения московских славянофилов и иных представителей националистических течений русской мысли – привычно язвя, например, о защите диссертации Ю.Ф. Самарина (II, 168–171, письмо к А.И. Тургеневу от июня 1845 г.) или в письме к де Сиркуру от 1854 г. о росте «нашего патриотизма» и о новых министерских назначениях:

«[...] все высшие административные посты в империи заняты сейчас людьми, наиболее способными помешать нам сбиться с правильного пути» (II, 269),

а о скандальной грубости и «простоте нравов» семейства московского генерал-губернатора (с 1848 по 1859 г.) А.А. Закревского⁶⁷ отзывался так:

«Вы знаете, что старый либерализм предыдущего царствования – бессмысленная аномалия в стране, благоговейно преданной своим государям [...], искоренен у нас, слава богу, уже давно; но, к несчастью, кое-что осталось в приемах и в языке людей, которые составляют то, что называют „хорошим обществом“. И вот, в настоящих условиях, даже это могло представлять некоторое неудобство в глазах дальновидного администратора. Итак, салоны нового генерал-губернатора, еще недавно место встреч избранного общества, вскоре лишились своих прежних завсегдатаев и наполнились новым обществом, столь же чуждым прежнему, сколько послушным благоразумным требованиям текущего дня. С этой поры там не стали знать другой свободы языка, как та, которую несет с собой нежная легкость нравов, лишенных всякой чопорной стыдливости, любезное наследство эпохи, знаменитой в современной истории Франции. Не могу передать вам все то благо, которое извлекают наши молодые люди из нового режима, который установился в доме градоначальника. В настоящее время

⁶⁷ См., напр., характеристику: Чичерин Б.Н. Воспоминания: В 2 т. Т. 1: Москва сороковых годов. Путешествие за границу. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2010. С. 191–192, 203.

нет ничего опаснее, как оставлять молодые умы под властью этих вкусов, слишком прилежных к учению, где бесплодная работа мысли питается всякого рода предметами воображения, и вот любезное гостеприимство семьи нашего генерал-губернатора предложило очаровательное лекарство против этого зла. Веселая фамильярность матери семейства, пленительные манеры дочери произвели настоящий переворот в пользу правого дела в привычках нашей молодежи» (II, 270–271).

Отношение к славянофильству со стороны Чаадаева претерпело изменение во второй половине 1840-х гг., когда он убедился, что националистический поворот не кратковременное увлечение – тогда он попытался встроить его в свое историческое видение, сообщая парижскому корреспонденту:

«Национальная реакция продолжается по-прежнему. Если ей случается иногда слишком увлечься своими собственными созданиями, принять на себя повадку власти, возомнить себя важной барыней, то не следует за это на нее слишком сердиться. Это черта всех реакций: влюбляться в самое себя, верить слишком слепо в свою правоту, впадать во всякого рода высокомерие, в особенности, когда эти реакции не встречают на своем пути серьезного противодействия, а вы знаете, что противодействие на этой почве в нашей стране почти немыслимо. *Идея туземная, т. е. идея исключительно таковая, торжествует, потому что в глубине этой идеи есть правда и добро* [выд. нами. – А.Т.], потому что она, естественно, должна восторжествовать вслед за тем продолжительным подчинением идеям иностранным, из которого мы выходим. *Настанет день, конечно, когда новое сочетание мировых идей с идеями местными положит конец ее торжеству, а до тех пор нужно терпеть ее успехи и даже злоупотребления, которые она при этом допускает* [выд. нами. – А.Т.]» (II, 185, письмо к А. де Сиркуру от 26 апреля 1846 г.).

В годы Крымской войны он вновь вернется к своей однозначно негативной оценке националистических учений, именуя их (в первую очередь славянофильство) «ретроспективными утопиями» (*utopies retrospectives*, I, 565⁶⁸) и ставя им в вину сами катастрофические события 1853–1856 гг.:

Правительство «не поощряло их, я знаю; иногда даже оно на удачу давало грубый пинок ногой наиболее зарвавшимся или наименее осторожным из их блаженного сонма⁶⁹; тем не менее, оно было убеждено, что как только оно бросит перчатку нечестивому и дряхлому Западу, к нему устремятся симпатии всех новых патриотов, принимающих свои неоконченные изыскания, свои бессвязные стремления и смутные надежды

⁶⁸ Ср.: Чаадаев П.Я. Неопубликованная статья / Предисл. и коммент. [кн.] Д.[И.] Шаховского // Звенья: Сборники материалов и документов по истории литературы, искусства и общественной мысли XIX века. Т. III–IV / Под ред. Влад. Бонч-Бруевича, Л.Б. Камнева и А.Б. Луначарского. – М., Л.: Academia, 1934. – С. 365–390. Данный оборот впервые встречается в письме к Шеллингу от 20 мая 1842 г. (II, 145) – в письме к Б.А. Жуковскому от 27 мая 1851 г., написанном по-русски, он, видимо, использует в качестве его русского аналога оборот «возвратное движение», «одним из ревностных служителей которого» называя К.С. Аксакова (II, 254).

⁶⁹ Имеются в виду репрессивные меры правительства в отношении ряда славянофилов: арест в 1847 г. Ф.Б. Чижова, арест в 1849 г. Ю.Ф. Самарина и И.С. Аксакова и их административная ссылка, цензурный запрет в 1852 г. 2-го тома «Московского Сборника» и фактический запрет печататься, наложенный на ведущих славянофилов, в том числе на А.С. Хомякова, К.С. и И.С. Аксаковых и др. [См.: Цимбаев Н.И. Историософия на развалинах империи. – М.: Издательский дом Международного ун-та в Москве, 2007. С. 172–173; Московский сборник / Изд. подгот. Б.Н. Греков. – СПб.: Наука, 2014. С. 860–863, 917–920, 1048–1051.]

за истинную национальную политику, равно как и покорный энтузиазм толпы, которая всегда готова подхватить любую патриотическую химеру, если только она выражена на том банальном жаргоне, какой обыкновенно употребляется в таких случаях. Результат был тот, что в один прекрасный день авангард Европы очутился в Крыму» (I, 571–572)⁷⁰.

Единственная принципиальная коррективa, внесенная Чаадаевым в свою историософию в последние десятилетия, – это оценка православия. В одном из наиболее поздних фрагментов (№ 203) он переосмысливает в позитивном плане его роль: теперь смирение обращается в достоинство: «Восточная церковь, по-видимому, была предназначена совсем для другого: она должна была идти иными путями. Ее роль состояла в том, чтобы явить мощь христианства, предоставленного единственно своим силам; она в совершенстве выполняла это высокое призвание» (I, 500) или, как он ранее, в 1845 г., писал де Сиркуру: «Наша [...] церковь по существу – церковь аскетическая, как ваша по существу – социальная: отсюда равнодушие одной ко всему, что совершается вне ее, и живое участие другой ко всему на свете. Это – два полюса христианской сферы, вращающейся вокруг оси своей безусловной истины, своей действительной истины. На практике обе церкви часто обмениваются ролями, но принципы нельзя оценивать по отдельным явлениям» (II, 174) – но в этой поздней интерпретации не трудно увидеть сохранение основного принципа: именно отсутствие, недостаток дают возможность предполагать великую будущность, поскольку иначе остался бы неясен сам факт существования подобного феномена, допустить его напрасность – значило бы утверждать отсутствие смысла в течении времени, а в осмысленности прошлого Чаадаев никогда не сомневался – собственно, из столкновения этой веры в смысл и зримой бессмыслицы, как ему казалось наряду с целым рядом других «религиозных западников» Александровской эпохи и родилась его историософская идея.

В заключение отметим, что сам Чаадаев неоднократно подчеркивал, что «окончил все, что имел сделать, сказал все, что имел сказать» (II, 67, письмо к А. С. Пушкину от 17 июня 1831 г.) – тексты, написанные им в последующие двадцать пять лет, корректируют, уточняют сказанное ранее, служат откликом на меняющуюся ситуацию, но не меняют главного, напротив, позволяют его лучше осознать – как неизменный центр посреди множества самых изменчивых суждений.

Андрей Тесля

⁷⁰ Основное возражение в адрес славянофилов, сформулированное Чаадаевым, напоминает последующие суждения, напр., К.Н. Леонтьева – «ретроспективная утопия», национализм славянофилов стремится, как и его предшественники, убедить в том, что русский народ – такой же народ, как и другие, тогда как он не похож на них, исключителен: «История нашей страны, например, рассказана недостаточно; из этого, однако, не следует, что ее нельзя разгадать. Мысль более сильная, более проникновенная, чем мысль Карамзина, когда-нибудь это сделает. Русский народ тогда узнает, что он такое, или, вернее, то, чего в нем нет. Он принимает себя теперь за такой же народ, как и другие; тогда, я уверен, он с ужасом убедится в своем нравственном ничтожестве; он узнает, что провидение пока еще давало ему жизнь лишь для того, чтобы иметь в его лице динамическую силу в мире, и пока еще не для того, чтобы проявить себя сознательно. Тогда мы поймем, что имеем вес на земле, но еще не действовали. Подобно тому, как народы, образовавшие новое общество, были сначала призваны на мировую арену как материальная сила и заняли свое место в порядке сознательном лишь после того, как подчинились игу его закона, точно также и мы в настоящее время представляем только силу физическую; силой нравственной мы станем тогда, когда совершим то же, что совершили они. Но когда это будет?» (I, 456, № 42-а).

П.Я. Чаадаев Философические письма, адресованные даме (сборник)

Философические письма (1829–1830)

Письмо первое

Adveniat regnum tuum
[Да приидет Царствие Твое (Мф. 6:10)]

Сударыня!

Именно ваше чистосердечие и ваша искренность нравятся мне всего более, именно их я всего более ценю в вас. Судите же, как должно было удивить меня ваше письмо. Этими прекрасными качествами вашего характера я был очарован с первой минуты нашего знакомства, и они-то побуждали меня говорить с вами о религии. Все вокруг вас могло заставить меня только молчать. Посудите же, еще раз, каково было мое изумление, когда я получил ваше письмо! Вот все, что я могу сказать вам по поводу мнения, которое, как вы предполагаете, я составил себе о вашем характере. Но не будем больше говорить об этом и перейдем не медля к серьезной части вашего письма.

Во-первых, откуда эта смута в ваших мыслях, которая вас так волнует и так изнуряет, что, по вашим словам, отразилась даже на вашем здоровье? Ужели она – печальное следствие наших бесед? Вместо мира и успокоения, которые должно было бы принести вам новое чувство, пробужденное в вашем сердце, оно причинило вам тоску, беспокойство, почти угрызения совести. И однако, должен ли я этому удивляться? Это – естественное следствие того печального порядка вещей, во власти которого находятся у нас все сердца и все умы. Вы только поддались влиянию сил, господствующих здесь надо всеми, от высших вершин общества до раба, живущего лишь для утехи своего господина.

Да и как могли бы вы устоять против этих условий? Самые качества, отличающие вас от толпы, должны делать вас особенно доступной вредному влиянию воздуха, которым вы дышите. То немного, что я позволил себе сказать вам, могло ли дать прочность вашим мыслям среди всего, что вас окружает? Мог ли я очистить атмосферу, в которой мы живем? Я должен был предвидеть последствия, и я их действительно предвидел. Отсюда те частые умолчания, которые, конечно, всего менее могли внести уверенность в вашу душу и естественно должны были привести вас в смятение. И не будь я уверен, что, как бы сильны ни были страдания, которые может причинить не вполне пробудившееся в сердце религиозное чувство, подобное состоять все же лучше полной летаргии, мне оставалось бы только раскаяться в моем рвении. Но я надеюсь, что облака, застилающие сейчас ваше небо, претворятся со временем в благодатную росу, которая оплодотворит семя, брошенное в ваше сердце, а действие, произведенное на вас несколькими незначительными словами, служит мне верным залогом тех еще более важных последствий, которые, без сомнения, повлечет за собою работа вашего собственного ума. Отдавайтесь безбоязненно душевным движениям, которые

будет пробуждать в вас религиозная идея: из этого чистого источника могут вытекать лишь чистые чувства.

Что касается внешних условий, то довольствуйтесь пока сознанием, что учение, основанное на верховном принципе единства и прямой передачи истины в непрерывном ряду его служителей, конечно, всего более отвечает истинному духу религии; ибо он всецело сводится к идее слияния всех существующих на свете нравственных сил в одну мысль, в одно чувство, и к постепенному установлению такой социальной системы или церкви, которая должна водворить царство истины среди людей. Всякое другое учение уже самым фактом своего отпадения от первоначальной доктрины заранее отвергает действие высокого завета Спасителя: *Отче святой, соблюди их, да будет едино, якоже и мы*⁷¹, и не стремится к водворению царства Божия на земле. Из этого однако не следует, чтобы вы были обязаны исповедовать эту истину перед лицом света: не в этом, конечно, ваше призвание. Наоборот, самый принцип, из которого эта истина исходит, обязывает вас, ввиду вашего положения в обществе, признавать в ней только внутренний светоч вашей веры, и ничего более. Я счастлив, что способствовал обращению ваших мыслей к религии; но я был бы весьма несчастлив, если бы вместе с тем поверг вашу совесть в смущение, которое с течением времени неминуемо охладило бы вашу веру.

Я, кажется, говорил вам однажды, что лучший способ сохранить религиозное чувство — это соблюдать все обряды, предписываемые церковью. Это упражнение в покорности, которое заключает в себе больше, чем обыкновенно думают, и которое величайшие умы возлагали на себя сознательно и обдуманно, есть настоящее служение Богу. Ничто так не укрепляет дух в его верованиях, как строгое исполнение всех относящихся к ним обязанностей. Притом большинство обрядов христианской религии, внушенных высшим разумом, обладают настоящей животворной силой для всякого, кто умеет проникнуться заключенными в них истинами. Существует только одно исключение из этого правила, имеющего в общем безусловный характер, — именно когда человек ощущает в себе верования высшего порядка сравнительно с теми, которые исповедует масса, — верования, возносящие дух к самому источнику всякой достоверности и в то же время нисколько не противоречащие народным верованиям, а, наоборот, их подкрепляющие; тогда, и только тогда, позволительно пренебрегать внешнею обрядностью, чтобы свободнее отдаваться более важным трудам. Но горе тому, кто иллюзии своего тщеславия или заблуждения своего ума принял бы за высшее просветление, которое будто бы освобождает его от общего закона! Вы же, сударыня, что вы можете сделать лучшего, как не облечься в одежду смирения, которая так к лицу вашему полу? Поверьте, это всего скорее умиротворит ваш взволнованный дух и прольет тихую отраду в ваше существование.

Да и мыслим ли, скажите, даже с точки зрения светских понятий, более естественный образ жизни для женщины, развитой ум которой умеет находить прелесть в познании и в величавых эмоциях созерцания, нежели жизнь сосредоточенная и посвященная в значительной мере размышлению и делам религии? Вы говорите, что при чтении ничто не возбуждает так сильно вашего воображения, как картины мирной и серьезной жизни, которые, подобно виду прекрасной сельской местности на закате дня, вливают в душу мир и на минуту уносят нас от горькой или пошлой действительности. Но эти картины — не создавая фантазии; от вас одной зависит осуществить любой из этих пленительных вымыслов; и для этого у вас есть все необходимое. Вы видите, я проповедую не слишком суровую мораль: в ваших склонностях, в самых привлекательных грезах вашего воображения я стараюсь найти то, что способно дать мир вашей душе.

⁷¹ Ин. XVII, 11.

В жизни есть известная сторона, касающаяся не физического, а духовного бытия человека. Не следует ею пренебрегать; для души точно так же существует известный режим, как и для тела; надо уметь ему подчиняться. Это – старая истина, я знаю; но мне думается, что в нашем отечестве она еще очень часто имеет всю ценность новизны. Одна из наиболее печальных черт нашей своеобразной цивилизации заключается в том, что мы еще только открываем истины, давно уже ставшие избитыми в других местах и даже среди народов, во многом далеко отставших от нас. Это происходит оттого, что мы никогда не шли об руку с прочими народами; мы не принадлежим ни к одному из великих семейств человеческого рода; мы не принадлежим ни к Западу, ни к Востоку, и у нас нет традиций ни того, ни другого. Стоя как бы вне времени, мы не были затронуты всемирным воспитанием человеческого рода.

Эта дивная связь человеческих идей на протяжении веков, эта история человеческого духа, вознесения его до той высоты, на которой он стоит теперь во всем остальном мире, не оказали на нас никакого влияния. То, что в других странах уже давно составляет самую основу общежития, для нас только теория и умозрение. И вот пример: вы, обладающая столь счастливой организацией для восприятия всего, что есть истинного и доброго в мире, вы, кому самой природой предназначено узнать все, что дает самые сладкие и самые чистые радости душе, – говоря откровенно, чего вы достигли при всех этих преимуществах? Вам приходится думать даже не о том, чем наполнить жизнь, а чем наполнить день. Самые условия, составляющие в других странах необходимую рамку жизни, в которой так естественно размещаются все события дня и без чего так же невозможно здоровое нравственное существование, как здоровая физическая жизнь без свежего воздуха, у вас их нет и в помине. Вы понимаете, что речь идет еще вовсе не о моральных принципах и не о философских истинах, а просто о благоустроенной жизни, о тех привычках и навыках сознания, которые сообщают непринужденность уму и вносят правильность в душевную жизнь человека.

Взгляните вокруг себя. Не кажется ли, что всем нам не сидится на месте? Мы все имеем вид путешественников. Ни у кого нет определенной сферы существования, ни для чего не выработано хороших привычек, ни для чего нет правил, нет даже домашнего очага; нет ничего, что привязывало бы, что пробуждало бы в вас симпатии или любовь, ничего прочного, ничего постоянного; все протекает, все уходит, не оставляя следа ни вне, ни внутри вас. В своих домах мы как будто на постое, в семье имеем вид чужестранцев, в городах кажемся кочевниками, и даже больше, нежели те кочевники, которые пасут свои стада в наших степях, ибо они сильнее привязаны к своим пустыням, чем мы к нашим городам. И не думайте, пожалуйста, что предмет, о котором идет речь, не важен. Мы и без того обижены судьбою, – не станем же прибавлять к прочим нашим бедам ложного представления о самих себе, не будем притязать на чисто духовную жизнь; научимся жить разумно в эмпирической действительности. Но сперва поговорим еще немного о нашей стране; мы не выйдем из рамок нашей темы. Без этого вступления вы не поняли бы того, что я имею вам сказать.

У каждого народа бывает период бурного волнения, страстного беспокойства, деятельности необдуманной и бездельной. В это время люди становятся скитальцами в мире, физически и духовно. Это – эпоха сильных ощущений, широких замыслов, великих страстей народных. Народы мечутся тогда возбужденно, без видимой причины, но не без пользы для грядущих поколений. Через такой период прошли все общества. Ему обязаны они самыми яркими своими воспоминаниями, героическим элементом своей истории, своей поэзией, всеми наиболее сильными и плодотворными своими идеями; это – необходимая основа всякого общества. Иначе в памяти народов не было бы ничего, чем они могли бы дорожить, что могли бы любить; они были бы привязаны лишь к праху земли, на которой живут. Этот увлекательный фазис в истории народов есть их юность, эпоха, в которую их способности развиваются всего сильнее и память о которой составляет радость и поучение их зрелого возраста.

У нас ничего этого нет. Сначала дикое варварство, потом грубое невежество, затем свирепое и унижительное чужеземное владычество, дух которого позднее унаследовала наша национальная власть, – такова печальная история нашей юности. Этого периода бурной деятельности, кипучей игры духовных сил народных, у нас не было совсем. Эпоха нашей социальной жизни, соответствующая этому возрасту, была заполнена тусклым и мрачным существованием, лишенным силы и энергии, которое ничто не оживляло, кроме злодеяний, ничто не смягчало, кроме рабства. Ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его преданиях. Окиньте взглядом все прожитые нами века, все занимаемое нами пространство, – вы не найдете ни одного привлекательного воспоминания, ни одного почтенного памятника, который властно говорил бы вам о прошлом, который воссоздавал бы его пред вами живо и картинно. Мы живем одним настоящим в самых тесных его пределах, без прошедшего и будущего, среди мертвого застоя. И если мы иногда волнуемся, то отнюдь не в надежде или расчете на какое-нибудь общее благо, а из детского легкомыслия, с каким ребенок силится встать и протягивает руки к погремушке, которую показывает ему няня.

Истинное развитие человека в обществе еще не началось для народа, если жизнь его не сделалась более благоустроенной, более легкой и приятной, чем в неустойчивых условиях первобытной эпохи. Как вы хотите чтобы семена добра созрели в каком-нибудь обществе, пока оно еще колеблется без убеждения и правил даже в отношении повседневных дел и жизнь еще совершенно не упорядочена? Это – хаотическое брожение в мире духовном, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали современному состоянию нашей планеты. Мы до сих пор находимся в этой стадии.

Годы ранней юности, проведенные нами в тупой неподвижности, не оставили никакого следа в нашей душе, и у нас нет ничего индивидуального, на что могла бы опереться наша мысль, но, обособленные странной судьбой от всемирного движения человечества, мы также ничего не восприняли и из преемственных идей человеческого рода. Между тем именно на этих идеях основывается жизнь народов; из этих идей вытекает их будущее, исходит их нравственное развитие. Если мы хотим занять положение, подобное положению других цивилизованных народов, мы должны некоторым образом повторить у себя все воспитание человеческого рода. Для этого к нашим услугам история народов, и перед нами плоды движения веков. Конечно, эта задача трудна, и, быть может, в пределах одной человеческой жизни не исчерпать этот обширный предмет; но прежде всего надо узнать, в чем дело, что представляет собою это воспитание человеческого рода, каково место, которое мы занимаем в общем строе.

Народы живут лишь могучими впечатлениями, которые оставляют в их душе протекание века, да общением с другими народами. Вот почему каждый отдельный человек проникнут сознанием своей связи со всем человечеством.

Что такое жизнь человека, говорит Цицерон, если память о прошлых событиях не связывает настоящего с прошедшим! Мы же, придя в мир, подобно незаконным детям, без наследства, без связи с людьми, жившими на земле раньше нас, мы не храним в наших сердцах ничего из тех уроков, которые предшествовали нашему собственному существованию. Каждому из нас приходится самому связывать порванную нить родства. Что у других народов обратилось в привычку, в инстинкт, то нам приходится вбивать в головы ударами молота. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы, так сказать, чужды самим себе. Мы так странно движемся во времени, что с каждым нашим шагом вперед прошедший миг исчезает для нас безвозвратно. Это – естественный результат культуры, всецело основанной на заимствовании и подражании. У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам Бог весть откуда. Так как мы воспринимаем всегда

лишь готовые идеи, то в нашем мозгу не образуются все неизгладимые борозды, которые последовательное развитие проводит в умах и которые составляют их силу. Мы растем, но не созреваем; движемся вперед, но по кривой лиши, т. е. по такой, которая не ведет к цели. Мы подобны тем детям, которых не приучили мыслить самостоятельно; в период зрелости у них не оказывается ничего своего; все их знание – в их внешнем быте, вся их душа – вне их; именно таковы мы.

Народы – в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обречем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?

Все народы Европы имеют общую физиономию, некоторое семейное сходство. Вопреки огульному разделению их на латинскую и тевтонскую расы, на южан и северян, все же есть общая связь, соединяющая их всех в одно целое и хорошо видимая всякому, кто поглубже вник в их общую историю. Вы знаете, что еще сравнительно недавно вся Европа называлась христианским миром, и это выражение употреблялось в публичном праве. Кроме общего характера, у каждого из этих народов есть еще свой частный характер, но и тот и другой всецело сотканы из истории и традиции. Они составляют преемственное идейное наследие этих народов. Каждый отдельный человек пользуется там своею долей этого наследства; без труда и чрезмерных усилий он набирает себе в жизни запас этих знаний и навыков и извлекает из них свою пользу. Сравните сами и скажите, много ли мы находим у себя в повседневном обиходе элементарных идей, которыми могли бы с грехом пополам руководствоваться в жизни? И заметьте, здесь идет речь не о приобретении знания и не о чтении, не о чем-либо касающемся литературы или науки, а просто о взаимном общении умов, о тех идеях, которые овладевают ребенком; в колыбели, окружают его среди детских игр и передаются ему с ласкою матери, которые в виде различных чувств проникают до мозга его костей вместе с воздухом, которым он дышит, и создают его нравственное существо еще раньше, чем он вступает в свет и общество. Хотите ли знать, что это за идеи? Это – идеи долга, справедливости, права, порядка. Они родились из самых событий, образовавших там общество, они входят необходимым элементом в социальный уклад этих стран.

Это и составляет атмосферу Запада; это – больше, нежели история, больше, чем психология, это – физиология европейского человека. Чем вы замените это у нас? Не знаю, можно ли из сказанного сейчас вывести что-нибудь вполне безусловное и извлечь отсюда какой-либо непреложный принцип; но нельзя не видеть, что такое странное положение народа, мысль которого не примыкает ни к какому ряду идей, постепенно развившихся в обществе и медленно выраставших одна из другой, и участие которого в общем поступательном движении человеческого разума ограничивалось лишь слепым, поверхностным и часто искусственным подражанием другим нациям, должно могущественно влиять на дух каждого отдельного человека в этом народе.

Вследствие этого вы найдете, что всем нам недостает известной уверенности, умственной методичности, логики. Западный силлогизм нам незнаком. Наши лучшие умы страдают чем-то большим, нежели простая неосновательность. Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки. Человеку свойственно теряться, когда он не находит способа привести себя в связь с тем, что ему предшествует, и с тем, что за ним следует. Он лишается тогда всякой твердости, всякой уверенности. Не руководимый чувством непрерывности, он видит себя заблудившимся в мире. Такие растерянные люди встречаются во всех странах; у нас же это общая черта.

Это вовсе не то легкомыслие, в котором когда-то упрекали французов и которое в сущности представляло собою не что иное, как способность легко усваивать вещи, не исключавшую ни глубины, ни широты ума, и вносящую в обращение необыкновенную прелесть и изящество; это – беспечность жизни, лишенной опыта и предвидения, не принимающей в расчет ничего, кроме мимолетного существования особи, оторванной от рода, жизни, не дорожающей ни честью, ни успехами какой-либо системы идей и интересов, ни даже тем родовым наследием и теми бесчисленными предписаниями и перспективами, которые в условиях быта, основанного на памяти прошлого и предвидении будущего, составляют и общественную, и частную жизнь. В наших головах нет решительно ничего общего; все в них индивидуально и все шатко и неполно. Мне кажется даже, что в нашем взгляде есть какая-то странная неопределенность, что-то холодное и неуверенное, напоминающее отчасти физиономию тех народов, которые стоят на низших ступенях социальной лестницы. В чужих странах, особенно на юге, где физиономии так выразительны и так оживленны, не раз, сравнивая лица моих соотечественников с лицами туземцев, я поражался этой немотой наших лиц.

Иностранцы ставят нам в достоинство своего рода бесшабашную отвагу, встречаемую особенно в низших слоях народа; но, имея возможность наблюдать лишь отдельные проявления национального характера, они не в состоянии судить о целом. Они не видят, что то же самое начало, благодаря которому мы иногда бываем так отважны, делает нас всегда неспособными к углублению и настойчивости; они не видят, что этому равнодушию к житейским опасностям соответствует в нас такое же полное равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи, и что именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей по пути совершенствования; они не видят, что именно благодаря этой беспечной отваге даже высшие классы у нас, к прискорбию, несвободны от тех пороков, которые в других странах свойственны лишь самым низшим слоям общества; они не видят, наконец, что если нам присущи кое-какие добродетели молодых и малоразвитых народов, мы не обладаем зато ни одним из достоинств, отличающих народы зрелые и высококультурные.

Я не хочу сказать, конечно, что у нас одни пороки, а у европейских народов одни добродетели; избави Бог! Но я говорю, что для правильного суждения о народах следует изучать общий дух, составляющий их жизненное начало, ибо только он, а не та или иная черта их характера, может вывести их на путь нравственного совершенства и бесконечного развития.

Народные массы подчинены известным силам, стоящим вверху общества. Они не думают сами; среди них есть известное число мыслителей, которые думают за них, сообщают импульс коллективному разуму народа и двигают его вперед. Между тем как небольшая группа людей мыслит, остальные чувствуют, и в итоге совершается общее движение. За исключением некоторых отупелых племен, сохранивших лишь внешний облик человека, сказанное справедливо в отношении всех народов, населяющих землю. Первобытные народы Европы – кельты, скандинавы, германцы – имели своих друидов, скальдов и бардов, которые были по-своему сильными мыслителями. Взгляните на племена Северной Америки, которые так усердно старается истребить материальная культура Соединенных Штатов, среди них встречаются люди удивительной глубины.

И вот я спрашиваю вас: где наши мудрецы, наши мыслители? Кто когда-либо мыслил за нас, кто теперь за нас мыслит? А ведь, стоя между двумя главными частями мира, Востоком и Западом, упираясь одним локтем в Китай, другим – в Германию, мы должны были бы соединять в себе оба великих начала духовной природы: воображение и рассудок – и совмещать в нашей цивилизации истории всего земного шара. Но не такова роль, определенная нам Провидением. Больше того, оно как бы совсем не было озабочено нашей судьбой. Исключив нас из своего благотворного действия на человеческий разум, оно всецело предоставило нас самим себе, отказалось как бы то ни было вмешиваться в наши дела, не пожелало ничему нас научить. Исторический опыт для нас не существует; поколения и века

протекли без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменен по отношению к нам. Одинокое в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человеческих, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и все, что нам досталось от этого прогресса, мы исказили. С первой минуты нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей; ни одна полезная мысль не родилась на бесплодной почве нашей родины; ни одна великая истина не вышла из нашей среды; мы не дали себе труда ничего выдумать сами, а из того, что выдумали другие, мы перенимали только обманчивую внешность и бесполезную роскошь.

Странное дело: даже в мире науки, обнимающем все, наша история ни к чему не примыкает, ничего не уясняет, ничего не доказывает. Если бы дикие орды, возмущившие мир, не прошли по стране, в которой мы живем, прежде чем устремиться на Запад, нам едва ли была бы отведена страница во всемирной истории. Если бы мы не раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не заметили бы. Некогда великий человек захотел просветить нас, и для того, чтобы приохотить нас к образованно, он кинул нам плащ цивилизации; мы подняли плащ, но не дотронулись до просвещения. В другой раз другой великий государь, приобщая нас к своему славному предназначению, провел нас победоносно с одного конца Европы на другой; вернувшись из этого триумфального шествия чрез просвещеннейшие страны мира, мы принесли с собою лишь идеи и стремления, плодом которых было громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад. В нашей крови есть нечто, враждебное всякому истинному прогрессу. И в общем мы жили и продолжаем жить лишь для того, чтобы послужить каким-то важным уроком для отдаленных поколений, которые сумеют его понять; ныне же мы, во всяком случае, составляем пробел в нравственном миропорядке. Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной пустоте и обособленности нашего социального существования. Разумеется, в этом повинен отчасти неисповедимый рок, но, как и во всем, что совершается в нравственном мире, здесь виноват отчасти и сам человек. Обратимся еще раз к истории: она – ключ к пониманию народов.

Что мы делали в ту пору, когда в борьбе энергического варварства северных народов с высокою мыслью христианства складывалась хранилище современной цивилизации? Повинуясь нашей злой судьбе, мы обратились к жалкой, глубоко презираемой этими народами Византии за тем нравственным уставом, который должен был лечь в основу нашего воспитания. Волею одного честолюбца⁷² эта семья народов только что была отторгнута от всемирного братства, и мы восприняли, следовательно, идею, искаженную человеческою страстью. В Европе все одушевлял тогда животворный принцип единства. Все исходило из него и все сводилось к нему. Все умственное движение той эпохи было направлено на объединение человеческого мышления; все побуждения коренились в той властной потребности отыскать всемирную идею, которая является гением-вдохновителем нового времени. Непричастные этому чудотворному началу, мы сделались жертвою завоевания. Когда же мы свергли чужеземное иго, и только наша оторванность от общей семьи мешала нам воспользоваться идеями, возникшими за это время у наших западных братьев, мы подпали еще более жестокому рабству, освященному притом фактом нашего освобождения.

Сколько ярких лучей уже озаряло тогда Европу, на вид окутанную мраком! Большая часть знаний, которыми теперь гордится человек, уже были предугаданы отдельными умами; характер общества уже определился, а приобщившись к миру языческой древности, христианские народы обрели и те формы прекрасного, которых им еще не доставало. Мы же замкнулись в нашем религиозном обособлении, и ничто из происходившего в Европе не достигало до нас. Нам не было никакого дела до великой мировой работы. Высокие каче-

⁷² Фотия.

ства, которые религия принесла в дар новым народам и которые в глазах здравого разума настолько же возвышают их над древними народами, насколько последние стояли выше готтентотов и лапландцев; эти новые силы, которыми она обогатила человеческий ум; эти нравы, которые, вследствие подчинения безоружной власти, сделались столь же мягкими, как раньше были грубы, – все это нас совершенно миновало. В то время как христианский мир величественно шествовал по пути, предначертанному его божественным основателем, увлекая за собою поколения, мы, хотя и носили имя христиан, не двигались с места. Весь мир перестраивался заново, а у нас ничего не созидалось; мы по-прежнему прозябали, забившись в свои лачуги, сложенные из бревен и соломы. Словом, новые судьбы человеческого рода совершались помимо нас. Хотя мы и назывались христианами, плод христианства для нас не созрел.

Спрашиваю вас: не наивно ли предполагать, как это обыкновенно делают у нас, что этот прогресс европейских народов, совершившийся столь медленно и под прямым и очевидным воздействием единой нравственной силы, мы можем усвоить сразу, не дав себе даже труда узнать, каким образом он осуществлялся?

Совершенно не понимает христианства тот, кто не видит, что в нем есть чисто историческая сторона, которая является одним из самых существенных элементов догмата и которая заключает в себе, можно сказать, всю философию христианства, так как показывает, что оно дало людям и что даст им в будущем. С этой точки зрения христианская религия является не только нравственной системою, заключенной в преходящие формы человеческого ума, но вечной божественной силой, действующей универсально в духовном мире и чье явленное обнаружение должно служить нам постоянным уроком. Именно таков подлинный смысл догмата о вере в единую Церковь, включенного в Символ веры. В христианском мире все необходимо должно способствовать – и действительно способствует – установлению совершенного строя на земле; иначе не оправдалось бы слово Господа, что Он пребудет в Церкви своей до скончания века. Тогда новый строй – царство Божие, – который должен явиться плодом искупления, ничем не отличался бы от старого строя, – от царства зла, – который искуплением должен быть уничтожен, и нам опять-таки оставалась бы лишь та призрачная мечта о совершенстве, которую лелеют философы и которую опровергает каждая страница истории, – пустая игра ума, способная удовлетворять только материальные потребности человека и поднимающая его на известную высоту лишь затем, чтобы тотчас низвергнуть в еще более глубокие бездны.

Однако, скажете вы, разве мы не христиане и разве немислима иная цивилизация, кроме европейской? Без сомнения, мы христиане; но не христиане ли и абиссинцы? Конечно, возможна и образованность, отличная от европейской; разве Япония не образованна, притом, если верить одному из наших соотечественников, даже в большей степени, чем Россия? Но неужто вы думаете, что тот порядок вещей, о котором я только что говорил и который является конечным предназначением человечества, может быть осуществлен абиссинским христианством и японской культурой? Неужто вы думаете, что небо сведет на землю эти нелепые уклонения от божеских и человеческих истин?

В христианстве надо различать две совершенно разные вещи: его действие на отдельного человека и его влияние на всеобщий разум. То и другое естественно сливается в высшем разуме и неизбежно ведет к одной и той же цели. Но срок, в который осуществляются вечные предначертания божественной мудрости, не может быть охвачен нашим ограниченным взглядом. И потому мы должны отличать божественное действие, проявляющееся в каком-нибудь определенное время в человеческой жизни, от того, которое совершается в бесконечности. В тот день, когда окончательно исполнится дело искупления, все сердца и умы сольются в одно чувство, в одну мысль, и тогда падут все стены, разъединяющие народы и исповедания. Но теперь каждому важно знать, какое место отведено ему в общем призвании

христиан, т. е. какие средства он может найти в самом себе и вокруг себя, чтобы содействовать достижению цели, поставленной всему человечеству.

Отсюда необходимо возникает особый круг идей, в котором и вращаются умы того общества, где эта цель должна осуществиться, т. е. где идея, которую Бог открыл людям, должна созреть и достигнуть всей своей полноты. Этот круг идей, эта нравственная сфера, в свою очередь, естественно обуславливают определенный строй жизни и определенное мировоззрение, которые, не будучи тождественными для всех, тем не менее создают у нас, как и у всех неевропейских народов, одинаковый бытовой уклад, являющийся плодом той огромной 18-вековой духовной работы, в которой участвовали все страсти, все интересы, все страдания, все мечты, все усилия разума.

Все европейские народы шли вперед в веках рука об руку; и как бы ни старались они теперь разойтись каждый своей дорогой, они беспрестанно сходятся на одном и том же пути. Чтобы убедиться в том, как родственно развитие этих народов, нет надобности изучать истории; прочтите только Тасса, и вы увидите их все простертыми ниц у подножья Иерусалимских стен. Вспомните, что в течение пятнадцати веков у них был один язык для обращения к Богу, одна духовная власть и одно убеждение. Подумайте, что в течение пятнадцати веков, каждый год в один и тот же день, в один и тот же час, они в одних и тех словах возносили свой голос к верховному существу, прославляя его за величайшее из его благодеяний. Дивное созвучие, в тысячу крат более величественное, чем вся гармония физического мира! Итак, если эта сфера, в которой живут европейцы и в которой в одной человеческий род может исполнить свое конечное предназначение, есть результат влияния религии, и если, с другой стороны, слабость нашей веры или несовершенство наших догматов до сих пор держали нас в стороне от этого общего движения, где развилась и формулировалась социальная идея христианства, и низвели нас в сонм народов, коим суждено лишь косвенно и поздно воспользоваться всеми плодами христианства, то ясно, что нам следует прежде всего оживить свою веру всеми возможными способами и дать себе истинно христианский импульс, так как на Западе все создано христианством. Вот что я подразумеваю, говоря, что мы должны от начала повторить на себе все воспитание человеческого рода.

Вся история новейшего общества совершается на почве мнений; таким образом, она представляет собою настоящее воспитание. Утвержденное изначала на этой основе, общество шло вперед лишь силою мысли. Интересы всегда следовали там за идеями, а не предшествовали им; убеждения никогда не возникали там из интересов, а всегда интересы рождались из убеждений. Все политические революции были там в сущности духовными революциями: люди искали истину и попутно нашли свободу и благосостояние. Этим объясняется характер современного общества и его цивилизации; иначе его совершенно нельзя было бы понять.

Религиозные гонения, мученичество за веру, проповедь христианства, ереси, соборы – вот события, наполняющие первые века. Все движение этой эпохи, не исключая и нашествия варваров, связано с этими первыми, младенческими усилиями нового мышления. Следующая затем эпоха занята образованием иерархии, централизацией духовной власти и непрерывным распространением христианства среди северных народов. Далее следует высочайший подъем религиозного чувства и упрочение религиозной власти. Философское и литературное развитие ума и улучшение нравов под державой религии довершают эту историю новых народов, которую с таким же правом можно назвать священной, как и история древнего избранного народа. Наконец, новый религиозный поворот, новый размах, сообщенный религией человеческому духу, определил и теперешний уклад общества. Таким образом, главный и, можно сказать, единственный интерес новых народов всегда заключался в идее. Все положительные, материальные, личные интересы поглощались ею.

Я знаю – вместо того чтобы восхищаться этим дивным порывом человеческой природы к возможному для нее совершенству, в нем видели только фанатизм и суеверие; но что бы ни говорили о нем, судите сами, какой глубокий след в характере этих народов должно было оставить такое социальное развитие, всецело вытекавшее из одного чувства, безразлично – в добре и во зле. Пусть поверхностная философия вопиет, сколько хочет, по поводу религиозных войн и костров, зажженных нетерпимостью, – мы можем только завидовать доле народов, создавших себе в борьбе мнений, в кровавых битвах за дело истины, целый мир идей, которого мы даже представить себе не можем, не говоря уже о том, чтобы перенестись в него телом и душой, как у нас об этом мечтают.

Еще раз говорю: конечно, не все в европейских странах проникнуто разумом, добродетелью и религией, – далеко нет. Но все в них таинственно повинует той силе, которая властно царит там уже столько веков, все порождено той долгой последовательностью фактов и идей, которая обусловила современное состояние общества. Вот один из примеров, доказывающих это. Народ, физиономия которого всего резче выражена и учреждения всего более проникнуты духом нового времени, – англичане, – собственно говоря, не имеют иной истории, кроме религиозной. Их последняя революция, которой они обязаны своей свободой и своим благосостоянием, так же как и весь ряд событий, приведших к этой революции, начиная с эпохи Генриха VIII, не что иное, как фазис религиозного развития. Во всю эту эпоху интерес собственно политический является лишь второстепенным двигателем и временами исчезает вовсе или приносится в жертву идей. И в ту минуту, когда я пишу эти строки⁷³, все тот же религиозный интерес волнует эту избранную страну. Да и вообще, какой из европейских народов не нашел бы в своем национальном сознании, если бы дал себе труд разобраться в нем, того особенного элемента, который в форме религиозной мысли неизменно являлся животворным началом, душою его социального тела, на всем протяжении его бытия?

Действие христианства отнюдь не ограничивается его прямым и непосредственным влиянием на дух человека. Огромная задача, которую оно призвано исполнить, может быть осуществлена лишь путем бесчисленных нравственных, умственных и общественных комбинаций, где должна найти себе полный простор безусловная свобода человеческого духа. Отсюда ясно, что все совершившееся с первого дня нашей эры, или, вернее, с той минуты, когда Спаситель сказал своим ученикам: *Идите по миру и проповедуйте Евангелие всей твари*, – включая и все нападки на христианство, – без остатка покрывается этой общей идеей его влияния. Стоит лишь обратить внимание на то, как власть Христа непреложно осуществляется во всех сердцах, – с сознанием или бессознательно, по доброй воле или принужденно, – чтобы убедиться в исполнении его пророчеств. Поэтому, несмотря на всю неполноту, несовершенство и порочность, присущие европейскому миру в его современной форме, нельзя отрицать, что царство Божие до известной степени осуществлено в нем, ибо он содержит в себе начало бесконечного развития и обладает в зародышах и элементах всем, что необходимо для его окончательного водворения на земле.

Прежде чем закончить эти размышления о роли, которую играла религия в истории общества, я хочу привести здесь то, что говорил об этом когда-то в сочинении, вам неизвестном.

«Несомненно, писал я, что пока мы не научимся узнавать действие христианства повсюду, где человеческая мысль каким бы то ни было образом соприкасается с ним, хотя бы с целью ему противоборствовать, мы не имеем о нем ясного понятия. Едва произнесено имя Христа, одно это имя увлекает людей, что бы они ни делали. Ничто не обнаруживает так ясно божественного происхождения христианской религии, как эта ее безусловная универсаль-

⁷³ 1829 г.

ность, сказывающаяся в том, что она проникает в души всевозможными путями, овладевает умом без его ведома, и даже в тех случаях, когда он, по-видимому, всего более ей противится, подчиняет его себе и властвует над ним, внося при этом в сознание истины, которых там раньше не было, пробуждая ощущения в сердцах, дотоле им чуждые, и внушая нам чувства, которые без нашего ведома вводят нас в общий строй. Так определяет она роль каждой личности в общей работе и заставляет все содействовать одной цели. При таком понимании христианства всякое пророчество Христа получает характер осязательной истины. Тогда начинаешь ясно различать движение всех рычагов, которые его всемогущая десница пускает в ход, дабы привести человека к его конечной цели, не посягая на его свободу, не умерщвляя ни одной из его природных способностей, а, наоборот, удешевляя их силу и доводя до безмерного напряжения ту долю мощи, которая заложена в нем самом. Тогда видишь, что ни один нравственный элемент не остается бездейственным в новом строе, что самые энергичные усилия ума, как и горячий порыв чувства, героизм, твердость духа, как и покорность кроткой души, – все находит в нем место и применение. Доступная всякому разумному существу, сочетаясь с каждым биением нашего сердца, о чем бы оно ни билось, христианская идея все увлекает за собою, и самые препятствия, встречаемые ею, помогают ей расти и крепнуть. С гением она поднимается на высоту, недостижимую для остальных людей; с робким духом она движется ощупью и идет вперед мерным шагом; в созерцательном уме она безусловна и глубока; в душе, подвластной воображению, она воздушна и богата образами; в нежном и любящем сердце она разрешается в милосердие и любовь; и каждое сознание, отдавшееся ей, она властно ведет вперед, наполняя его жаром, ясностью и силой. Взгляните, как разнообразны характеры, как множественны силы, приводимые ею в движение, как несходны элементы служения одной и той же цели, сколько разнообразных сердец бьется для одной идеи! Но еще более удивительно влияние христианства на общество в целом. Разверните вполне картину эволюции нового общества, и вы увидите, как христианство претворяет все интересы людей в свои собственные, заменяя всюду материальную потребность потребностью нравственной и возбуждая в области мысли те великие споры, каких до него не знало ни одно время, ни одно общество, те страшные столкновения мнений, когда вся жизнь народов превращалась в одну великую идею, одно безграничное чувство; вы увидите, как все становится им, и только им, – частная жизнь и общественная, семья и родина, наука и поэзия, разум и воображение, воспоминания и надежды, радости и печали. Счастливы те, кто носит в сердце своем ясное сознание части, ими творимой в этом великом движении, которое сообщил миру сам Бог. Но не все суть деятельные орудия, не все трудятся сознательно; необходимые массы движутся слепо, не зная сил, которые приводят их движения, и не провидя цели, к которой они влекутся, – бездушные атомы, косные громады».

Но пора вернуться к вам, сударыня. Признаюсь, мне трудно оторваться от этих широких перспектив. В картине, открывающейся моим глазам с этой высоты, все мое утешение, и сладкая вера в будущее счастье человечества одна служит мне убежищем, когда, удрученный жалкой действительностью, которая меня окружает, я чувствую потребность подышать более чистым воздухом, взглянуть на более ясное небо. Однако я не думаю, что злоупотребил вашим временем. Мне надо было показать вам ту точку зрения, с которой следует смотреть на христианский мир и на нашу роль в нем. То, что я говорил о нашей стране, должно было показаться вам исполненным горечи; между тем я высказал одну только правду, и даже не всю. Притом христианское сознание не терпит никакой слепоты, а национальный предрассудок является худшим видом ее, так как он всего более разъединяет людей.

Мое письмо растянулось, и, думаю, нам обоим нужен отдых. Начиная его, я полагал, что сумею в немногих словах изложить то, что хотел вам сказать; но, вдумываясь глубже, я вижу, что об этом можно написать целый том. По сердцу ли это вам? Буду ждать вашего ответа. Но, во всяком случае, вы не можете избежать еще одного письма от меня, потому

что мы едва лишь приступили к рассмотрению нашей темы. А пока я был бы чрезвычайно признателен вам, если бы вы соблаговолили пространностью этого первого письма извинить то, что я так долго заставил вас ждать его. Я сел писать вам в тот же день, когда получил ваше письмо; но грустные и тягостные заботы поглотили меня тогда всецело, и мне надо было избавиться от них, прежде чем начать с вами разговор о столь важных предметах; затем нужно было переписать мое маранье, которое было совершенно неразборчиво. На этот раз вам не придется долго ждать: завтра же снова берусь за перо.

Некрополь, 1-го декабря 1829 г.

Письмо второе

Если я удачно передал намерения свою мысль, вы должны были убедиться в том, что я отнюдь не думаю, будто вам не хватает одних только знаний. Правда, и их у нас не слишком много, но приходится в данное время обойтись без тех обширных духовных сокровищ, которые веками скапливались в других странах и находятся там в распоряжении человека: нам предстоит другое. К тому же, если допустить, что мы смогли бы путем изучения и размышления добыть себе недостающие нам знания, откуда нам взять мощные традиции, обширный опыт, глубокое осознание минувших времен, прочные умственные навыки – все эти последствия огромного напряжения всех человеческих способностей, а они-то и составляют нравственную природу народов Европы и дают им подлинное превосходство. Итак, задача сейчас не в расширении области наших идей, а в том, чтобы исправить те, которыми мы обладаем, и придать им новое направление. Что касается вас, сударыня, то вам прежде всего нужна сфера бытия, в которой свежие мысли, случайно зароненные в ваш ум, новые потребности, порожденные этими мыслями в вашем сердце, и чувства, возникшие под их воздействием в вашей душе, нашли бы действительное применение. Вы должны создать себе собственный мир, раз тот, в котором вы живете, стал вам чуждым.

Начать с того, что состояние души нашей, как бы высоко мы ее ни настроили, зависит от окружающей обстановки. Поэтому вам надлежит как следует разобраться в том, что можно сделать при вашем положении в свете и в собственной вашей семье для согласования ваших чувств с вашим образом жизни, ваших идей – с вашими домашними отношениями, ваших верований – с верованиями тех, кого вы видите... Ведь множество зол возникает именно оттого, что происходящее в глубине нашей мысли резко расходится с необходимостью подчиняться общественным условиям. Вы говорите, что средства не позволяют вам удобно устроиться в столице. Ну что ж, у вас прелестная усадьба: почему бы вам не перенести туда свой домашний очаг до конца ваших дней? Это счастливая необходимость, и от вас одной зависит извлечь из нее всю ту пользу, какую могли бы вам доставить самые поучительные указания философии. Сделайте свой приют как можно более привлекательным, займитесь его красивым убранством и украшением, почему бы даже не вложить в это некоторую изысканность и нарядность? Ведь это вовсе не особый вид утонченной чувственности; заботы ваши будут иметь целью не вульгарные удовольствия, а возможность всецело сосредоточиться в своей внутренней жизни. Очень прошу вас не пренебрегать этими внешними мелочами. Мы живем в стране, столь бедной проявлениями идеального, что если мы не окружим себя в домашней жизни некоторой долей поэзии и хорошего вкуса, то легко можем утратить всякую деликатность чувства, всякое понятие об изящном. Одна из самых поразительных особенностей нашей своеобразной цивилизации заключается в пренебрежении удобствами и радостями жизни. Мы лишь с грехом пополам боремся с ненастями разных времен года, и это при климате, о котором можно не в шутку спросить себя, был ли он предназначен для жизни разумных существ. Раз мы допустили некогда неосторожность посе-

литься в этом жестоком климате, то постараемся, по крайней мере, ныне устроиться в нем так, чтобы можно было несколько забыть его суровость.

Мне помнится, вы в былое время с большим удовольствием читали Платона. Вспомните, как заботливо самый идеальный, самый выпренный из мудрецов Древнего мира окружает действующих лиц своих философских драм всеми благами жизни. То они медленно гуляют по прелестным побережьям Иллиса или в кипарисовых аллеях Гносса, то они укрываются в прохладной тени старого платана или вкушают сладостное отдохновение на цветущей лужайке, а то, выждав спадения дневной жары, наслаждаются ароматным воздухом и тихой прохладой вечера в Аттике или же, наконец, возлежат в удобных позах, увенчанные цветами и с кубками в руках, вокруг стола с яствами; и, только прекрасно устроив их на земле, он возносит их в надлунные пространства, в которых так любит витать. Я мог бы вам указать, и в сочинениях самых строгих Отцов Церкви, у св. Иоанна Златоуста, у св. Григория Назианзина, даже у св. Василия, прелестные изображения уединений, где эти великие люди находили покой и высокие вдохновения, сделавшие их светилами веры. Эти святые мужи не думали, что они унижают свое достоинство, уделяя внимание заботам о предметах, наполняющих значительную часть жизни. В этом безразличии к жизненным благам, которые иные из нас вменяют себе в заслугу, есть поистине нечто циничное. Одна из главных причин, замедляющих у нас прогресс, состоит в отсутствии всякого отражения изящного в нашей домашней жизни.

Затем, я бы хотел, чтобы вы устроили себе в этом убежище, которое вы как можно лучше украсите, вполне однообразный и методический образ жизни. Нам всем не хватает духа порядка и методичности, избавимся от этого недостатка. Не стоит повторять доводов в пользу размеренной жизни; во всяком случае, одно лишь постоянное подчинение определенным правилам может научить нас без усилий подчиняться высшему закону нашей природы. Но для точного соблюдения какого-либо правила необходимо устранить все, что этому мешает. Часто с первых часов дня бываешь выбит из намеченного круга занятий, и весь день испорчен. Нет ничего важнее первых испытанных нами впечатлений, первых мыслей, приходящих к нам, когда мы вновь возвращаемся к жизни вслед за подобием смерти, которое разделяет наши дни. Эти впечатления и эти мысли обычно предопределяют состояние нашей души на весь день. Вот он начался домашней сварой и закончился непоправимой ошибкой. Поэтому приучитесь первые часы дня сделать как можно более значительными и торжественными, сразу вознесите душу на всю ту высоту, к какой она способна, старайтесь провести эти часы в полном уединении, устраняйте все, что может слишком на вас повлиять, слишком вас рассеять; при такой подготовке вы можете безбоязненно встретить те неблагоприятные впечатления, которые затем вас охватят и которые при других условиях превратили бы ваше существование в непрерывную борьбу, без надежды на победу. К тому же, раз это время упущено, потом уже не вернешь его для уединения и сосредоточенной мысли. Жизнь поглотит вас всеми своими заботами, как приятными, так и скучными, и вы закрутитесь в нескончаемом колесе житейских мелочей. Не дадим же протекать без пользы единственному часу дня, когда мы можем принадлежать самим себе.

Признаюсь, я придаю большое значение этой потребности ежедневно сосредоточиться и воспрянуть духом, я уверен, что нет другого средства уберечь себя от засилия окружающих вещей; но вы, конечно, понимаете, что это далеко еще не все. Одна идея, пронизывающая всю вашу жизнь, должна всегда стоять перед вами, служить вам светочем во всякое время дня. Мы являемся в мир со смутным инстинктом нравственного блага, но вполне осознать его мы можем лишь в более полной идее, которая из этого инстинкта развивается в течение всей жизни. Этой внутренней работе надо все приносить в жертву, применительно к ней надо установить весь порядок вашей жизни. Но все это должно протекать в сердечном молчании, потому что мир не сочувствует ничему глубокому. Он отвращает взор от великих убежде-

ний, глубокая идея его утомляет. Вам же должны быть свойственны верное чувство и сосредоточенная мысль, не зависимые от различных людских мнений, а уверенно ведущие вас к цели. Не завидуйте обществу в его чувственных удовольствиях, вы обретете в своем уединении наслаждения, о которых там и понятия не имеют. Я не сомневаюсь в том, что, освоившись с ясной атмосферой такого существования, вы станете спокойно взирать из своей обители на то, как волнуется и для вас исчезает мир, вы насладитесь покоем вашей души. А пока надо усвоить себе вкусы, привычки, привязанности вашего нового образа жизни. Надо избавиться от всякого суетного любопытства, расстраивающего и уродующего жизнь, и первым делом искоренить упорную склонность сердца увлекаться новинками, гоняться за злобами дня и вследствие этого постоянно с жадностью ожидать наступления дня завтрашнего. Иначе вы не обретете ни мира, ни благополучия, а одни только разочарования и отращения. Хотите ли вы, чтобы мирской поток разбивался у порога вашего мирного жилища? Если да, то изгоните из вашей души все эти беспокойные страсти, возбуждаемые светскими происшествиями, все эти нервные волнения, вызванные преходящими новостями. Замкните дверь перед всяким шумом, всякими отголосками света. Наложите у себя запрет, если хватит у вас решимости, даже и на всю легковесную литературу – по существу она не что иное, как тот же шум, но только в письменном виде. На мой взгляд, нет ничего более несовместимого с правильным умственным укладом, чем жажда чтения новинок. Повсюду мы встречаем людей, ставших неспособными серьезно размышлять, глубоко чувствовать вследствие того, что пищу их составляли одни только эти недолговечные произведения, в которых за все хватаются, ничего не углубив, в которых все обещают, ничего не выполняя, где все принимает сомнительную или лживую окраску и все вместе оставляет после себя пустоту и неопределенность. Если вы ищете удовлетворения в избранном вами образе жизни, необходимо добиться, чтобы новое из-за одной новизны своей никогда вами не ценилось.

Нет никакого сомнения, чем более вы согласуете свои вкусы и потребности с этим образом жизни, тем лучше вы будете себя чувствовать. Чем теснее вы свяжете внешнее с внутренним, видимое с невидимым, тем более приятным будет предстоящий вам путь. Не надо, однако, скрывать от себя и ожидающие вас трудности. Их в нашей стране так много, что всех и не перечислить. Здесь не торная дорога, где колесо жизни катится по наезженной колее: это тропа, по которой приходится продирааться сквозь колючки и тернии, а подчас и сквозь чащу. В старых цивилизованных странах Европы давно сложились определенные бытовые образцы, так что там, когда решишь переменить образ жизни, достаточно просто-напросто выбрать ту новую обстановку, в которую желаешь перенестись, – место заранее готово, распределение ролей сделано. Как только вы выберете подходящую для себя роль, и люди и предметы сами собой расположатся вокруг вас. Вам остается только должным образом их использовать. Совсем иное дело у нас. Сколько издержек, сколько труда, прежде чем вы освоитесь в новой обстановке! Сколько теряется времени, сколько затрачивается сил на приспособление, на то, чтобы приучить окружающих смотреть на вас сообразно с новым вашим положением, чтобы заставить молчать глупца, чтобы улеглось любопытство. Разве здесь знают, что такое могущество мысли? Разве здесь испытали, как прочное убеждение вследствие тех или других причин вторгается в душу вопреки привычному ходу вещей, через некое внезапное озарение, через указание свыше, овладевает душой, переворачивает все ваше существо и возносит вас выше вас самих и всего того, что вас окружает? Живое сознание вызывало ли здесь когда-либо сердечный отклик? Был ли здесь кто-нибудь привержен культу истины?

Естественно, что всякий, кто отдается с жаром своим верованиям, наткнется среди этой толпы, которую никогда ничего не потрясало, на препятствия и возражения. Вам придется себе все создавать, сударыня, вплоть до воздуха для дыхания, вплоть до почвы под ногами. И это буквально так. Эти рабы, которые вам прислуживают, разве не они составляют окру-

жающую вас атмосферу? Эти борозды, которые в поте лица взрыли другие рабы, разве это не та почва, которая вас носит? И сколько различных сторон, сколько ужасов заключает в себе одно слово: раб! Вот заколдованный круг, в нем все мы гибнем, бессильные выйти из него. Вот проклятая действительность, о нее мы все разбиваемся. Вот что превращает у нас в ничто самые благородные усилия, самые великодушные порывы. Вот что парализует волю всех нас, вот что пятнает все наши добродетели. Отягченная роковым грехом, где она, та прекрасная душа, которая бы не заглохла под этим невыносимым бременем? Где человек, столь сильный, чтобы в вечном противоречии с самим собою, постоянно думая одно и поступая по-другому, не опротивел самому себе? И вот я снова вернулся, сам того не замечая, к тому, с чего начал: позвольте мне еще немного об этом поговорить, и я затем вернусь к вам.

Эта ужасная язва, которая нас изводит, в чем же ее причина? Как могло случиться, что самая поразительная черта христианского общества как раз именно и есть та, от которой русский народ отрекся в лоне самого христианства? Откуда у нас это обратное действие религии? Не знаю, но мне кажется, одно это могло бы заставить усомниться в православии, которым мы кичимся. Вы знаете, что ни один философ древности не пытался представить себе общества без рабов, да и не находил никаких возражений против рабства. Аристотель, признанный представитель всей той мудрости, какая только была в мире до пришествия Христа, утверждал, что люди рождаются – одни, чтобы быть свободными, другие – чтобы носить оковы. Вы знаете также и то, что по признанию самых даже упорных скептиков уничтожением крепостничества в Европе мы обязаны христианству. Более того, известно, что первые случаи освобождения были религиозными актами и совершались перед алтарем и что в большинстве отпускных грамот мы встречаем выражение: *pro redemptions animae* – ради искупления души. Наконец, известно, что духовенство показало везде пример освобождая собственных крепостных и что римские первосвященники первые способствовали уничтожению рабства в области, подчиненной их духовному управлению. Почему же христианство не имело таких же последствий у нас? Почему, наоборот, русский народ попал в рабство лишь после того, как он стал христианским, а именно в царствование Годунова и Шуйских? Пусть православная церковь объяснит это явление.

Пусть скажет, почему она не возвысила материнского голоса против этого отвратительного насилия одной части народа над другой. И посмотрите, пожалуйста, как мало нас знают, невзирая на всю нашу мощь и величие. Как раз на этих днях в одно время и на Босфоре и на Евфрате прогремел гром наших пушек. А между тем историческая наука, которая именно в это самое время доказывает, что уничтожение рабства есть заслуга христианства, даже и не подозревает, что христианский народ в сорок миллионов душ пребывает в оковах! Дело в том, что значение народов в роде человеческого определяется лишь их духовной мощью и что тот интерес, который они к себе возбуждают, зависит от их нравственного влияния в мире, а не от шума, который они производят. Теперь вернемся назад.

После сказанного о желательном, на мой взгляд, для вас образе жизни вы, пожалуй, могли бы подумать, что я требую от вас монашеской замкнутости. Но речь идет лишь о трезвом и осмысленном существовании, а оно не имеет ничего общего с мрачной суровостью аскетической морали. Я говорю о жизни, отличной от жизни толпы, с такой положительной идеей и таким чувством, преисполненным убеждения, к которому сводились бы все остальные мысли, все остальные чувства. Такое существование прекрасно мирится со всеми законными благами жизни, оно даже их требует, и общение с людьми – необходимое его условие. Одиночество таит свои опасности, в нем подчас нас ожидают странные искушения. Сосредоточенный в самом себе ум питается созданными им лживыми образами и, подобно св. Антонию, населяет свою пустыню призраками, порождениями собственного воображения, и они его затем и преследуют. А между тем если развивать религиозную мысль без

страсти, без насилия, то сохранишь даже и среди мирской суеты то внутреннее состояние, перед которым бессильны все обольщения, все увлечения жизни.

Надо найти такое душевное настроение, мягкое и простое, которое сумело бы без усилий сочетать со всеми действиями разума, со всеми сердечными эмоциями идею истины и добра. В особенности следует стремиться проникнуться истинами откровения. Огромное преимущество этих истин в том, что они доступны всякому разумному существу, что они мирятся с особенностями всех умов. К ним ведут всевозможные пути: и покорная и слепая вера, которую без размышления исповедуют массы, и глубокое знание, и простодушное сердечное благоговение, и вдохновенное размышление, и возвышенная поэзия души. Однако самый простой путь – целиком положиться на те столь частые случаи, когда мы сильнее всего подпадаем под действие религиозного чувства на нашу душу и нам кажется, что мы лишились лично нам принадлежащей силы и против своей воли влечемся к добру какою-то высшей силой, отрывающей нас от земли и возносящей на небо. И вот тогда именно, в сознании своей немоги, дух наш раскроется с необычайной силой для мыслей о небе и самые высокие истины сами собой потекут в наше сердце.

Многokратно возвращаясь к основному началу нашей духовной деятельности, к движущим силам наших мыслей и наших поступков, невозможно не заметить, что значительная часть их определяется чем-то таким, что нам отнюдь не принадлежит, и что самое хорошее, самое возвышенное, самое для нас полезное из происходящего в нас вовсе не нами производится. Все то благо, которое мы совершаем, есть прямое следствие присущей нам способности подчиняться неведомой силе: единственная действительная основа деятельности, исходящей от нас самих, связана с представлением о нашей выгоде в пределах того отрезка времени, который мы зовем жизнью; это не что иное, как инстинкт самосохранения, который присущ нам, как и всем одушевленным существам, но видоизменяется в нас согласно нашей своеобразной природе. Поэтому, что бы мы ни делали, какую бы незаинтересованность ни стремились вложить в свои чувства и свои поступки, руководит нами всегда один только этот интерес, более или менее правильно понятый, более или менее близкий или отдаленный. Как бы ни было пламенно наше стремление действовать для общего блага, это воображаемое нами отвлеченное благо есть лишь то, чего мы желаем для самих себя, а устранить себя вполне нам никогда не удастся: в том, что мы желаем для других, мы всегда учитываем собственное благо. И потому высший разум, выражая свой закон на языке человека, снисходя к нашей слабой природе, предписал нам только одно: поступать с другими так, как мы желаем, чтобы поступали с нами. И в этом, как и во всем другом, он идет вразрез с нравственным учением философии, которая считает, что постигает абсолютное благо, т. е. благо универсальное, как будто только от нас зависит составить себе понятие о полезном вообще, когда мы не знаем и того, что нам самим полезно. Что такое абсолютное благо? Это незыблемый закон, по которому все стремится к своему предназначению: вот все, что мы о нем знаем. Но если руководить нашей жизнью должно понятие об этом благе, разве не необходимо знать о нем что-либо еще? До определенного момента мы, безусловно, действуем сообразно всеобщему закону, в противном случае мы заключали бы в себе самих основу нашего бытия, а это нелепость; но мы действуем именно так, сами не зная почему: движимые невидимой силой, мы можем улавливать ее действие, изучать ее в ее проявлениях, подчас отождествляться с нею, но вывести из всего этого положительный закон нашего духовного бытия – вот это нам недоступно. Смутное чувство, неоформленное понятие без обязательной силы, – большего мы никогда не добьемся. Вся человеческая мудрость заключена в этой страшной насмешке Бога в Ветхом Завете: *вот Адам стал как один из нас, познав добро и зло!*

Я думаю, вы из сказанного уже предугадываете всю неизбежность откровения, и вот что, по моему мнению, доказывает эту неизбежность. Человек научается познавать физический закон, наблюдая явления природы, которые чередуются у него перед глазами сооб-

разно единообразному и неизменному закону. Собирая воедино наблюдения предшествующих поколений, он создает систему познаний, подтверждаемую его собственным опытом, а великое орудие исчисления облакает ее в неизменную форму математической достоверности. Хотя этот круг познаний охватывает далеко не всю систему природы и не возвышается до значения общей основы всех вещей, он все же заключает в себе вполне положительные познания, потому что познания эти относятся к существам, протяжение и длительность которых могут быть познаны чувствами или же предусмотрены достоверными аналогиями. Словом, здесь царство опыта, и поскольку опыт может сообщить достоверность понятиям, которые он вводит в наш ум, постольку мир физический может быть нами познан. Вы хорошо знаете, что эта достоверность доходит до того, что мы можем предвидеть некоторые явления за много времени вперед и способны с невероятной силой воздействовать на неодушевленную материю.

Итак, нами указаны средства достоверного познания, которыми располагает человек. Если, помимо этого, разум наш имеет еще способность спонтанности, т. е. деятельное начало, независящее от восприятия материального мира, то во всяком случае и эту собственную свою силу он может применять лишь к материалу, который доставляет ему [в порядке материальном – наблюдение]; а в порядке духовном – <к чему> применит человек эти средства? Что именно придется ему наблюдать для раскрытия закона духовного порядка? Разумную природу, не правда ли? Но разве природа разумная такова же, как природа материальная? Не свободна ли она? Разве она не следует закону, который сама для себя устанавливает? Поэтому, исследуя разум в его внешних и внутренних проявлениях, что мы узнаем? Что он свободен, вот и все. И если мы при этом исследовании вдруг достигнем чего-либо абсолютного, разве ощущение нашей свободы не отбросит нас немедленно, и притом неизбежно, в тот самый круг рассуждения, из которого мы только что перед тем как будто выбились? Не очутимся ли мы сразу на прежнем месте? Круг этот неизбежен. Но это не все. Предположим, что мы на самом деле возвысились до некоторых истин, настолько доказанных, что разум вынужден их принять непременно. Предположим, что мы действительно нашли несколько общих законов, которым разумное существо непременно должно подчиниться. Эти законы, эти истины будут относиться лишь к одной части всей жизни человека, к его земной жизни, ничего общего не будут они иметь с другой частью, которая нам совершенно неведома и тайну которой не сможет нам раскрыть никакая аналогия. Каким же образом могут они быть истинными законами духовного существа, раз они касаются лишь части его существования, одного мгновения в его жизни? Так что если мы таким образом и постигнем эти законы на основании опыта, то и они смогут быть только законами одного периода времени, пройденного духовной природой, а в таком случае как можем мы их признать за законы духовной природы вообще? Не значило ли бы это то же самое, как если бы сказали, что для каждого возраста есть специальная врачебная наука и чтобы лечить, например, детские болезни, излишне знать немощи зрелого возраста? Что для предписания образа жизни, подходящего для молодежи, нет нужды знать тот, который пригоден для человека вообще? Что состояние нашего здоровья не определяется состоянием здоровья всех моментов нашей жизни и, наконец, что мы можем предаваться всяким отступлениям и излишествами в некоторые периоды нашего существования безнаказанно для дальнейшей жизни? Я спрашиваю вас, какое мнение составили бы вы себе о человеке, который бы утверждал, что существует одна нравственность для юности, другая для зрелого возраста, третья для старости и что воспитание имеет значение только для ребенка и юноши. А между тем это именно то, что утверждает ваша философская мораль. Она научает нас тому, что надлежит нам делать сегодня, а о том, что будет с нами завтра, ей и дела нет. А что такое будущая жизнь, если не завтрашний день жизни настоящей?

Все это приводит нас к такому заключению: жизнь духовного существа в целом обнимает собою два мира, из которых только один нам ведом, и так как всякое мгновение жизни неразрывно связано со всей последовательностью моментов, из которых складывается жизнь, то ясно, что собственными силами нам невозможно возвыситься до познания закона, который неизбежно должен относиться к тому и другому миру. Поэтому закон этот неизбежно должен быть нам преподан таким разумом, для которого существует один-единственный мир, единый порядок вещей.

Впрочем, не подумайте, что нравственное учение философов не имеет с нашей точки зрения никакой ценности. Мы как нельзя лучше знаем, что оно содержит великие и прекрасные истины, которые долго руководили людьми и которые еще и сейчас с силой отзываются в сердце и в душе. Но мы знаем также, что истины эти не были выдуманы человеческим разумом, но были ему внушены свыше в различные эпохи общей жизни человечества. Это одна из первичных истин, преподанных естественным разумом и которую разум, проникнутый откровением, лишь освящает своим высшим авторитетом. Хвала земным мудрецам, но слава одному только Богу! Человек никогда не шествовал иначе, как при сиянии божественного света. Свет этот постоянно озарял дорогу человека, но он не замечал того источника, из которого исходил яркий луч, падающий на его путь. Он просвещает, говорит евангелист, всякого человека, проходящего в мир; Он всегда был в мире, но мир его не познал.

Привычные представления, усвоенные человеческим разумом под влиянием христианства, приучили нас усматривать идею, раскрытую свыше, лишь в двух великих откровениях – Ветхого и Нового Завета, и мы забываем о первоначальном откровении. А без ясного понимания этого первого общения духа Божьего с духом человеческим ничего нельзя понять в христианстве. Христианин, не находя в собственном своем учении разрешения великой загадки душевного бытия, естественно приводится к учению философов. А между тем философы способны объяснять человека только через человека: они отделяют его от Бога и внушают ему мысль о том, будто он зависит только от себя самого. Обычно думают, что христианство не объясняет всего, что нам надлежит знать.

Считают, что существуют нравственные истины, которые может нам преподать одна только философия: это великое заблуждение. Нет такого человеческого знания, которое способно было бы заменить собою знание божественное. Для христианина все движение человеческого духа не что иное, как отражение непрерывного действия Бога на мир. Изучение последствий этого движения дает ему в руки лишь новые доводы в подтверждение его верований. В различных философских системах, во всех усилиях человека христианин усматривает лишь более или менее успешное развитие духовных сил мира сообразно различным состояниям и различным возрастам обществ, но тайну назначения человека он открывает не в тревожном и неуверенном колебании человеческого разума, а в символах и глубоких образах, завещанных человечеству учениями, источник которых теряется в лоне Бога. Он следит за учением, в которое постепенно выливалась земная мысль и чтобы найти там более или менее заметные следы первоначальных наставлений, преподанных человеку самим Создателем в тот день, когда он его творил своими руками; он размышляет об истории человеческого духа, чтобы найти в ней сверхприродные озарения, не перестававшие просвещать без его ведома человеческий разум, пронизывая весь тот туман, весь тот мрак, которым этот разум так охотно себя окружает. Всюду узнает он эти всемогущие и неизгладимые идеи, нисшедшие с неба на землю, без которых человечество давно бы запуталось в своей свободе. И наконец, он знает, что опять-таки благодаря этим самым идеям разум человеческий мог воспринять более совершенные истины, которые Бог соизволил сообщить ему в более близкую нам эпоху.

И поэтому, далекий от попыток овладеть всеми заключающимися в мозгу человека измышлениями, он стремится лишь как можно лучше постигнуть пути Господни во всемир-

ной истории человечества. Он влечется к одной только небесной традиции; искажения, внесенные в нее людьми, для него дело второстепенное. И тогда он неизбежно понимает, что есть надежное правило, как среди всего необъятного океана человеческих мнений отыскать корабль спасения, неизменно направляющий путь по звезде, данной ему для руководства: и звезда эта вечно сияет, никогда не заслоняло ее никакое облако; она видима для всех глаз, под любым небом; она пребывает над нашей головой и днем и ночью. И если только ему единожды доказано, что весь распорядок духовного мира есть следствие удивительного сочетания первоначальных понятий, брошенных самим Богом в нашу душу, с воздействием нашего разума на эти идеи, ему станет также ясно, что сохранение этих основ, их передача из века в век, от поколения к поколению определяется особыми законами и что есть, конечно, какие-то видимые признаки, по которым можно распознать среди всех святых, рассеянных по земле, ту, в которой, как в святом ковчеге, содержится неприкосновенное средоточие истины.

Сударыня! Ранее, чем мир созрел для восприятия новых озарений, которые должны были однажды на него излиться, в то время как заканчивалось воспитание человеческого рода развитием всех его собственных сил, смутное, но глубокое чувство позволяло время от времени немногим избранныкам провидеть яркий след светила правды, которое проходило по своей орбите. Так Пифагор, Сократ, Зороастр и в особенности Платон узрели неизреченное сияние, и чело их озарено было необычайным отблеском. Их взоры, обращенные на ту точку, откуда должно было взойти новое солнце, до некоторой степени предвидели его восход. Но они не смогли возвыситься до познания подлинных признаков абсолютной истины, потому что с той поры, как человек изменил свою природу, истина нигде не проявлялась <для него> во всем своем блеске, и невозможно было ее распознать сквозь скрывавший ее туман. Напротив, в новом мире, если человек все еще не распознает эти признаки, то это только добровольное ослепление; если он сбивается с пути праведного, то это не что иное, как преступное подчинение темному началу, оставленному в его сердце с единой целью сделать более действенным его единение с истиной.

Вы, конечно, предвидите, сударыня, к чему клонится все это рассуждение: само собой приходит на ум, каковы будут вытекающие из него последствия. В дальнейшем мы ими и займемся. Я уверен, что вы овладеете ими без труда. Впрочем, мы не станем более прерывать свою мысль такими отступлениями, которые на этот раз встретились на нашем пути, и сможем беседовать более последовательно и методично. Прощайте, сударыня.

Письмо третье

Absorpta est mors ad victoriam
(Поглощена смерть победою)

Размышления наши о религии перешли в философское рассуждение, а оно вернуло нас снова к религиозной идее. Теперь станем опять на философскую точку зрения: мы ее не исчерпали. Рассматривая религиозный вопрос в свете чистого умознания, мы религией лишь завершаем вопрос философский. К тому же, как бы ни была сильна вера, разум должен уметь опираться на силы, заключенные в нем самом. Есть души, в которых вера непременно должна в случае необходимости найти доводы в разуме. Мне кажется, это как раз ваш случай. Вы слишком сроднились со школьной философией, вера ваша слишком недавнего происхождения, привычки ваши слишком далеки от той замкнутой жизни, в которой простое благочестие само себя питает и собой довольствуется; вы поэтому не сможете руководствоваться одним только чувством. Вашему сердцу без размышлений не обойтись. Правда, в чувстве таится много озарений, сердцу несомненно присущи великие силы; но чувство действует на нас временно, и вызываемое им волнение не может длиться постоянно. Наоборот,

добытое рассуждением остается всегда с нами. Продуманная идея нас никогда не покидает, каково бы ни было наше душевное настроение, между тем как идея, только прочувствованная, все время убегает от нас и изменяется: все зависит от силы, с какой бьется наше сердце. А сверх того сердца не даются по выбору: какое уж у тебя есть, с тем и приходится мириться, разум же свой мы сами постоянно сознаем.

Вы утверждаете, что от природы расположены к религиозной жизни. Я часто думал об этом, и мне кажется, вы ошибаетесь. За природную потребность вы принимаете вызванное случайными обстоятельствами неопределенное чувство, мечтательную прихоть воображения. Нет, не так, не с таким беспокойным пылом отдаются настоящему призванию, раз оно найдено в жизни; тогда принимают судьбу свою с твердой решимостью, со спокойной уверенностью. Конечно, можно и даже должно себя переделывать; для христианина уверенность в такой возможности и сознание своего долга в этом отношении – предмет веры в самое важное из чаяний. Христианское учение рассматривает совокупность всего на основе возможного и необходимого перерождения нашего существа, и именно к этому должны быть направлены все наши усилия. Но пока мы не почувствовали, что наша ветхая природа растворяется и что зарождается в нас новый человек, созданный Христом, мы должны использовать все средства, чтобы приблизить этот желанный переворот, ведь он и не может наступить, пока мы на это не направим целиком все свои силы.

Впрочем, как вы знаете, мы не собираемся здесь исследовать философию во всем ее объеме; задача наша скромнее: раскрыть не то, что содержится в философии, а скорее то, чего в ней нет. Надеюсь, это не окажется выше наших сил. Для религиозной души это единственное средство понимать и обращать себе на пользу человеческую науку, но в то же время надо знать, в чем состоит эта наука, ничего не упустить и по возможности все в ней рассмотреть с точки зрения наших верований.

Монтень сказал: *L'obéir est le propre office d'une âme raisonnable, reconnaissant un céleste supérieur et bienfaiteur*⁷⁴. Как вы знаете, он не считается умом, склонным к вере; включим же на сей раз эту мысль скептика в наш текст: подчас хорошо завербовать себе союзников из вражьего стана; это соответственно ослабляет силы противной стороны.

Прежде всего, нет иного разума, кроме разума подчиненного; это без сомнения так; но это еще не все. Взгляните на человека; всю жизнь он только и делает, что ищет, чему бы подчиниться. Сначала он находит в себе силу, сознаваемую им отличную от силы, определяющей движение, происходящее вне его; он ощущает жизнь в себе; в то же время он убеждается, что эта сила не безгранична; он ощущает собственное ничтожество; тогда он замечает, что вне его стоящая сила над ним властвует и что он вынужден ей подчиниться, в этом вся его жизнь. С самого первого пробуждения разума понимание того, что существуют две силы: одна – внутри нас находящаяся и несовершенная, другая – вне нас стоящая и совершенная, – само собой проникает в сознание человека. И хотя оно доходит до нас не в таких ясных и определенных очертаниях, как понимание, сообщаемое нашими чувствами или переданное нам при сношениях с другими людьми, все же все наши идеи о добре, долге, добродетели, законе, а также и им противоположные рождаются только от этой ощущаемой нами потребности подчиниться тому, что зависит не от нашей преходящей природы, не от волнений нашей изменчивой воли, не от увлечений наших тревожных желаний. Вся наша активность есть лишь проявление силы, заставляющей нас стать в порядок общий, в порядок зависимости. Соглашаемся ли мы с этой силой, или противимся ей, – все равно, мы вечно под ее властью. Поэтому нам остается только стараться дать себе возможно верный отчет в ее действии на нас и, раз мы что-либо об этом узнали, отдаться ей со спокойной верой: эта сила,

⁷⁴ «Повиновение есть истинный долг души разумной, признающей небесного владыку и победителя» (фр.) (Примеч. М. О. Гершензона.).

без нашего ведома действующая на нас, никогда не ошибается, она-то и ведет вселенную к ее предназначению. Итак, в чем состоит главный вопрос жизни? Как открыть действие верховной силы на наше существование?

Так понимаем мы первооснову мира духовного, и, как видите, она вполне соответствует первооснове мира физического. Но первооснова мира физического кажется нам непреодолимой силой, которой все неизбежно подчиняется, а другая представляется лишь силой, действующей в сочетании с нашей собственной силой и до некоторой степени видоизменяемой последней. Таков логический вид, придаваемый миру нашим искусственным разумом. Но этот искусственный разум, которым мы своевольно заменили уделенную нам изначала долю разума мирового, этот злой разум, столь часто извращающий предметы в наших глазах и заставляющий нас видеть их вовсе не такими, каковы они на самом деле, все же не в такой мере затемняет абсолютный порядок вещей, чтобы лишить нас способности признать главенство подчиненности над свободой и зависимость устанавливаемого нами для себя закона от общего закона мирового. Поэтому разум этот отнюдь не препятствует нам, принимая свободу, как данную реальность, признавать зависимость подлинной реальностью духовного порядка, точно так же, как и порядка физического. Итак, все силы ума, все его средства познания основываются лишь на его покорности. Чем более он себя подчиняет, тем он сильнее. И перед человеческим разумом стоит один только вопрос: знать, чему он должен подчиниться. Как только мы нарушим это верховное правило всякой деятельности, умственной и нравственной, так немедленно впадем в грех произвольного рассуждения или воли. Назначение настоящей философии только в том и состоит, чтобы сперва доказать это положение, а затем показать, откуда исходит тот свет, который нами должен руководить в жизни.

Отчего, например, ни в одном из своих действий разум не возвышается до такой степени, как в математических исчислениях? Что такое исчисление? Умственное действие, механическая работа ума, в которой рассуждающей воле нет места. Откуда эта чудодейственная мощь анализа в математике? Дело в том, что ум здесь действует в полном подчинении данному правилу. Отчего так много дает наблюдение в физике? Оттого, что оно преодолевает естественную склонность человеческого разума и дает ему направление, диаметрально противоположное обычному ходу мысли: оно ставит разум по отношению к природе в смиренное положение, ему присущее⁷⁵. Каким образом достигла своей высокой достоверности натурфилософия? Сводя разум до совершенно подчиненной негативной деятельности. Наконец, в чем действие блестящей логики, сообщившей этой философии такую исполинскую силу? Она сковывает разум, она подводит его под всемирное ярмо повиновения и делает его столь же слепым и подвластным, как та самая природа, которую он исследует. Единый путь, говорит Бэкон, отверстый человеку для владычества над природой, есть тот самый, который ведет в Царство Небесное: войти туда можно лишь в смиренном образе ребенка⁷⁶.

Далее. Что такое логический анализ, как не насилие разума над самим собою? Дайте разуму волю, и он будет действовать одним синтезом. Аналитическим путем мы можем идти лишь с помощью чрезвычайных усилий над самими собой: мы постоянно сбиваемся на естественный путь, путь синтеза. С синтеза и начал человеческий разум, и именно синтез есть отличительная черта науки древних. Но как ни естественен синтез, как он ни законен, и часто даже более законен, чем анализ, несомненно все же – к наиболее деятельным проявлениям мысли принадлежат именно процессы подчинения, анализа. С другой стороны, всмотревшись в дело внимательно, находим, что величайшие открытия в естественных науках

⁷⁵ Почему древние не умели наблюдать? Потому что они не были христианами.

⁷⁶ Novum Organum (ch. 68).

– чистые интуиции, совершенно спонтанные, т. е. что они проистекают из синтетического начала. Но заметьте, что хотя интуиция и составляет по существу своему свойство человеческого разума и является одним из самых деятельных его орудий, мы все же не можем дать себе в ней полного отчета, как в других наших способностях. Дело в том, что мы не просто-напросто владеем ею, как другими способностями; в этой способности есть нечто, принадлежащее высшему разуму, ей дано лишь отражать этот высший разум в нашем. И потому-то мы и обязаны интуиции самыми блестящими нашими озарениями.

Таким образом, ясно, что человеческий разум не достигает самых положительных своих знаний чисто внутренней своею силой, а направляется непременно извне. Следовательно, настоящая основа нашей умственной мощи в сущности не что иное, как своего рода логическое самоотречение, однородное с самоотречением нравственным и вытекающее из того же закона.

Впрочем, природа представляет собой не только материал для опыта и наблюдения, но также и образец для рассмотрения. Всякое природное явление есть силлогизм с большей и меньшей посылками и выводами. Следовательно, сама природа внушает уму метод, которым он должен пользоваться для ее познания; стало быть, и тут он только повинуетя закону, который перед ним раскрывается в самом движении вещей. Таким образом, когда древние, стоики, с их блестящими предчувствиями толковали о подражании природе, о повиновении ей, о согласованности с ней, они, находясь еще гораздо ближе нас к началу всех вещей и не разбив еще, подобно нам, мира на части, лишь провозглашали это основное начало духовной природы, именно то, что никакая сила, никакой закон не создаются нами из себя.

Что касается побуждающего нас действовать начала, которое есть не что иное, как желание собственного блага, то к чему бы пришел род человеческий, если бы понятие об этом благе было одной лишь выдумкой нашего разума? Что ни век, что ни народ имели бы тогда о нем свою особую идею. Как могло бы человечество в целом шествовать вперед в своем беспредельном прогрессе, если бы в сердце человека не было одного мирового понятия о благе, общего всем временам и всем странам и, следовательно, не человеком созданного? В силу чего наши действия становятся нравственными? Не делает ли их таковыми то повелительное чувство, которое заставляет нас покоряться закону, уважать истину? Но ведь закон только потому и закон, что он не от нас исходит; истина потому и истина, что она не выдумана нами. Мы иногда устанавливаем правило поведения, отступающее от должного, но это лишь потому, что мы не в силах устранить влияние наших наклонностей на наше суждение; в этих случаях нам предписывают закон наши наклонности, а мы ему следуем, принимая его за общий мировой закон. Конечно, есть и такие люди, которые как будто без всяких усилий сообразуются со всеми предписаниями нравственности; таковы некоторые выдающиеся личности, которыми мы восхищаемся в истории. Но в этих избранных душах чувство долга развилось не через мышление, а через те таинственные побуждения, которые управляют людьми помимо их сознания, в виде великих наставлений, которые мы, не ища их, находим в самой жизни и которые гораздо сильнее нашей личной мысли, являющейся частью мысли, общей всем людям: ум бывает поражен то примером, то счастливым стечением обстоятельств, подымающих нас выше самих себя, то благоприятным устройством всей жизни, заставляющим нас быть такими, какими мы без этого никогда бы не были; все это живые уроки веков, которыми причудливо наделяются по неведомому нам закону определенные личности; и если вульгарная психология не отдает себе отчета в этих таинственных пружинах духовного движения, то психология более углубленная, принимающая наследственность человеческой мысли за первое начало духовной природы, находит в этом разрешение большей части своих вопросов. Так, если героизм добродетели или вдохновение гения и не вытекали из мысли отдельного человека, они являются все же плодом мысли протекших веков. И все равно, мыслили мы или не мыслили, кто-то уже мыслил за нас еще

до нашего появления на свет; в основе всякого нравственного действия, каким бы оно ни казалось спонтанным и самостоятельным, всегда лежит, следовательно, чувство долга, а тем самым и подчинения.

Теперь посмотрим, что бы вышло, если бы человек мог довести свою подчиненность до совершенного лишения себя своей свободы. Из только что сказанного ясно, что это было бы высшей ступенью человеческого совершенства. Ведь всякое движение души его вызывалось бы тем самым началом, которое производит все другие движения в мире. Тогда исчез бы теперешний его отрыв от природы, и он бы слился с нею. Ощущение своей собственной воли выделяет его теперь из всеобщего распорядка и делает из него обособленное существо; а тогда в нем бы проснулось чувство мировой воли, или, говоря иными словами, внутреннее ощущение, глубокое сознание своей действительной причастности ко всему мирозданию. Теперь он проникнут своей собственной обособляющей идеей, личным началом, разобщающим его от всего окружающего и затуманивающим в его глазах все предметы; но это отнюдь не составляет необходимого условия его собственной природы, а есть только следствие его насильственного отчуждения от природы всеобщей, и если бы он отрешился от своего нынешнего пагубного Я, то разве он не нашел бы вновь и идею, и всеобъемлющую личность, и всю мощь чистого разума в его изначальной связи с остальным миром? И разве тогда все еще стал бы он ощущать себя живущим этой мелочной и жалкой жизнью, которая его побуждает относить все к себе и глядеть на мир только через призму своего искусственного разума? Конечно нет, он начал бы жить жизнью, которую даровал ему сам Господь Бог в тот день, когда он извлек его из небытия. Вновь обрести эту исконную жизнь и предназначено высшему напряжению наших дарований. Один великий гений когда-то сказал, что человек обладает воспоминанием о какой-то лучшей жизни: великая мысль, не напрасно брошенная на землю; но вот чего он не сказал, а что сказать следовало, — но здесь лежит предел, которого не мог переступить ни этот блестящий гений, ни какой-либо другой в ту пору развития человеческой мысли, — это то, что утраченное и столь прекрасное существование может быть нами вновь обретоно, что это всецело зависит от нас и не требует выхода из мира, который нас окружает.

Время и пространство — вот пределы человеческой жизни, какова она ныне. Но прежде всего, кто может мне запретить вырваться из удушающих объятий времени? Откуда почерпнул я самую идею времени? Из памяти о прошедших событиях. Но что же такое воспоминание? Не что иное, как действие воли: это видно из того, что мы помним не более того, что желаем вспомнить; иначе весь ряд событий, сменявшихся на протяжении моей жизни, оставался бы постоянно в моей памяти, теснился бы без перерыва у меня в голове; а между тем, наоборот, даже в то время, когда я даю полную свободу своим мыслям, я воспринимаю лишь реминисценции, соответствующие данному состоянию моей души, волнующему меня чувству, занимающей меня мысли. Мы строим образы прошлого точно так же, как и образы будущего. Что же мешает мне отбросить призрак прошлого, неподвижно стоящий позади меня, подобно тому, как я могу по желанию уничтожить колеблющееся видение будущего, парящее впереди, и выйти из того промежуточного момента, называемого настоящим, момента столь краткого, что его уже нет в то самое мгновение, когда я произношу выражающее его слово? Все времена мы создаем себе сами, в этом нет сомнения; Бог времени не создал; он дозволил его создать человеку. Но в таком случае, куда делось бы время, эта пагубная мысль, обступающая и гнетущая меня отовсюду? Не исчезнет ли оно совершенно из моего сознания, не рассеется ли без остатка мнимая его реальность, столь жестко меня подавляющая? Моему существованию нет более предела; нет преград видению безграничного; мой взор погружается в вечность; земной горизонт исчез; небесный свод не упирается в землю на краях безграничной равнины, стелющейся перед моими глазами; я вижу себя в беспредельном пребывании, не разделенном на дни, на часы, на мимолетные мгновения, но в

пребывании вечно едином, без движения и без перемен, где все отдельные существа исчезли друг в друге, – словом, где все пребывает вечно. Всякий раз, как дух наш успевает сбросить с себя оковы, которые он сам же себе и выковал, ему доступен этот род времени, точно так, как и тот, в котором он ныне пребывает. Зачем устремляется он постоянно за пределы непосредственной смены вещей, измеряемой монотонными колебаниями маятника? Зачем кидается он беспрестанно в иной мир, где не слышен роковой бой часов? Дело в том, что беспредельность есть естественная оболочка мысли; в ней-то и есть единственное, истинное время, а другое мы создаем себе сами, а для чего – не знаю.

Обратимся к пространству, но ведь всем известно, что мысль не пребывает в нем; она логически приемлет условия осязаемого мира, но сама она в нем не обитает. Какую бы, следовательно, реальность ни придавали пространству, это факт вне мысли, и у него нет ничего общего с сущностью духа; это форма, пускай неизбежная, но все же лишь одна форма, в которой нам представляется внешний мир. Следовательно, пространство еще менее, чем время, может закрыть путь в то новое бытие, о котором здесь идет речь.

Так вот та высшая жизнь, к которой должен стремиться человек, жизнь совершенства, достоверности, ясности, беспредельного знания, но прежде всего – жизнь совершенной подчиненности; жизнь, которой он некогда обладал, но которая ему также обещана и в будущем. А знаете ли вы, что это за жизнь? Это Небо: и другого неба, помимо этого, нет. Вступить в него нам позволено отныне же, сомнений тут быть не должно. Ведь это не что иное, как полное обновление нашей природы в данных условиях, последняя грань усилий разумного существа, конечное предназначение духа в мире. Я не знаю, призван ли каждый из нас вступить на это поприще, достигнет ли он его славной конечной цели, но то, что предельной точкой нашего прогресса только и может быть полное слияние нашей природы с природой всего мира, это я знаю, ибо только таким образом может наш дух вознестись к полному совершенству, а это и есть подлинное выражение высшего разума⁷⁷.

Но пока мы еще не достигли предела нашего паломничества, до того как совершится это великое слияние нашего существа с существом всемирным, не можем ли мы по крайней мере раствориться в мире духовном? Разве не в нашей власти в любой степени отождествлять себя с подобными нам существами? Мы ведь способны усваивать себе их нужды, их выгоды, приспосабливаться к их чувствам так, чтобы, в конце концов, жить только для них и чувствовать только через них. Это без сомнения верно. Как бы вы ни называли эту нашу удивительную способность слипаться с тем, что происходит вокруг нас, – симпатией, любовью, состраданием, – она во всяком случае присуща нашей природе. Мы при желании можем до такой степени сродниться с нравственным миром, что все совершающееся в нем и нам известное мы будем переживать как происходящее с нами; более того, если даже мировые события нас и не очень заботят, довольно одной уже общей, но глубокой мысли о делах других людей: одного только внутреннего сознания нашей действительной связи с человечеством, чтобы заставить наше сердце сильнее биться в такт с судьбою всего человеческого рода, а все наши мысли и все наши поступки – сливать с мыслями и поступками всех людей в одно созвучное целое. Воспитывая это замечательное свойство нашей природы, все более и более развивая его в душе, мы достигнем таких высот, с которых целиком раскроется перед нами остальная часть всего предстоящего нам пути; и благо тем из смертных, кто, раз поднявшись на эту высоту, сумеет на ней удержаться, а не низринется вновь туда, вниз, откуда началось его восхождение! Все существование наше до тех пор было непрерывным колебанием между жизнью и смертью, длительной агонией; тут началась настоящая жизнь, с этого

⁷⁷ Здесь надлежит заметить две вещи: во-первых, что мы не имели в виду утверждать, будто в этой жизни содержится все Небо целиком: оно в этой жизни лишь начинается, ибо смерть более не существует с того дня, как она была побеждена Спасителем; и, во-вторых, что здесь, конечно, говорится не о слиянии вещественном во времени и в пространстве, а лишь о слиянии в идее и в принципе.

часа от нас одних зависит идти по пути правды и добра, ибо с этой поры закон духовного мира перестал быть для нас непроницаемой тайной.

Но так ли протекает жизнь кругом нас? Совсем наоборот. Закон духовной природы обнаруживается в жизни поздно и неясно, но, как вы видите, его вовсе не приходится измышлять, как и закон физический. Все, что нам доступно, это – иметь душу, раскрытую для этого познания, когда оно предстанет перед нашим умственным взором. В обычном ходе жизни, в повседневных заботах нашего ума, в привычной дремоте души нравственный закон проявляется гораздо менее явственно, чем закон физический. Правда, он над нами безраздельно господствует, определяет каждое наше действие, каждое движение нашего разума, но вместе с тем, сохраняя в нас посредством какого-то дивного сочетания, через непрерывно длящееся чудо, сознание нашей собственной деятельности, он налагает на нас грозную ответственность за все, что мы делаем, за каждое биение нашего сердца, даже за каждую мимолетную мысль, едва затронувшую наш ум; и, несмотря на это, он ускользает от нашего разума в глубочайшем мраке. Что же происходит? Не зная истинного двигателя, бессознательным орудием которого он служит, человек создает себе свой собственный закон, и этот-то закон, который он по своему почину себе предписывает, и есть то, что он называет нравственный закон, иначе – мудрость, высшее благо, или просто закон, или еще иначе⁷⁸. И этому-то хрупкому произведению собственных рук, произведению, которое он может по произволу разрушить и действительно ежедневно и ежеминутно разрушает, человек приписывает в своем ослеплении все положительное, абсолютное, все непреложное, присущее настоящему закону его бытия, а между тем при помощи одного только своего разума, он, очевидно, мог бы постигнуть относительно этого сокровенного начала одну лишь его неизбежную необходимость – ничего более.

Впрочем, хотя нравственный закон пребывает вне нас и независимо от нашего знания его, совершенно так, как и закон физический, есть все же существенное различие между этими двумя законами. Бесчисленное множество людей жило и теперь еще живет без малейшего понятия о вещественных движущих силах природы; Бог восхотел, чтобы человеческий разум открывал их самостоятельно и постепенно. Но каким бы отсталым ни было разумное существо, как бы ни были ограничены его способности, оно всегда имеет некоторое понятие о начале, побуждающем его действовать. Чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие о добре и зле. Отнимите у человека это понятие, и он не будет ни размышлять, ни судить, он не будет существом разумным. Этого понятия Бог не мог лишить нас ни на мгновение; он нас и создал с ним. И эта-то несовершенная идея, непостижимым образом вложенная в нашу душу, составляет всю сущность разумного человека. Вы только что видели, что можно было бы извлечь из этой идеи, если бы удалось восстановить ее в ее первоначальной чистоте, как она была нам сообщена изначально; следует, однако, рассмотреть и то, чего можно достичь, если отыскивать начало всех наших познаний единственно в собственной нашей природе.

Сокольники, 1 июня

Письмо четвертое

Воля есть не что иное, как род мышления. Представлять ли себе волю конечною или бесконечною, все равно приходится признать некую причину, которая заставляет ее действовать: поэтому ее должно рассматривать не как начало свободное, а как начало обусловленное.

Спиноза. *De anima*

⁷⁸ См. древних.

Как мы видели, всякое естественное явление можно рассматривать как силлогизм; но его можно также рассматривать как число. При этом или заставляют природу выразиться в числе и рассматривают ее в действии – это наблюдение, или исчисляют в отвлечении – это вычисление; или же, наконец, за единицы принимаются найденные в природе величины, и производят вычисления над ними; в этом случае применяют вычисление к наблюдению и этим пополняют науку. Вот и весь круг положительного знания. Необходимо только иметь в виду, что количеств как таковых в природе не существует; если бы они там были, то аналитический вывод был бы равнозначным божественному *Fiat*, ибо совершенная достоверность его не была ничем ограничена и, следовательно, была бы всемогуществом⁷⁹. Бессилие то же, что заблуждение; выше совершенной истины нет ничего. Действительные величины, т. е. абсолютные единицы, имеются лишь в нашем уме; во вселенной находятся лишь числовые видимости. Эти видимости, в форме которых материальность открывается нашим взорам, они-то и дают нам понятие о численности: вот основа математического восприятия. Итак, числовое выражение предметов не что иное, как мыслительный механизм, который мы создаем из данных природы. Сначала мы переводим эти данные в область абстракции, затем мы их воспринимаем как величины и, наконец, поступаем с ними по своему усмотрению. Математическая достоверность, следовательно, имеет также свой предел; будем остерегаться упустить это из виду.

В применении к явлениям природы наука чисел, без сомнения, вполне достаточна для эмпирического познания, а также и для удовлетворения материальных нужд человека; но никак нельзя сказать, чтобы она в той же мере соответствовала требуемой умом достоверности в абстрактном познании. Устойчивое, неподвижное, геометрическое рассуждение, каким его по большей части воспринимают геометры, есть нечто, лишенное разума, безбожное. Если бы в математике заключалась совершенная достоверность, число было бы чем-то реальным. Так понимали его, например, пифагорейцы, каббалисты и им подобные, приписывавшие числам свойства разного рода и находившие в них начало и сущность всех вещей. Они были вполне последовательны, так как мыслили природу состоящей из числовых величин, и ни о чем другом не помышляли. Но мы видим еще в природе кое-что, кроме цифр, мы с полным сознанием верим в Бога и когда мы осмеливаемся вкладывать в руку Создателя циркуль, то допускаем нелепость; мы забываем, что мера и предел одно и то же, что бесконечность есть первое из свойств божества, именно она, можно сказать, и составляет его божественность, так что, превращая Высшее Существо в геометра, мы лишаем его собственной ему вечной природы и низводим его до нашего уровня. Бессознательно мы еще находимся под властью языческих представлений, почему и впадаем в такого рода заблуждения. Число не могло заключаться в божественной мысли; творения истекают из Бога, как воды потока, без меры и конца, но человеку необходима точка соприкосновения между его ограниченным разумом и бесконечным разумом Бога, разделенными беспредельностью, и вот почему он так любит замыкать божественное всемогущество в размеры собственной природы. Здесь мы видим настоящий антропоморфизм, в тысячу раз более вредный, нежели антропоморфизм простаков, не способных в своем пламенном устремлении приблизиться к Богу и представить себе духовное существо иным, чем то, которое доступно их пониманию, и поэтому низводящих божество до существа, подобного себе. В сущности и философы поступают не лучше. «Они приписывают Богу, – сказал великий мыслитель, который в этом хорошо разбирался, – разум, подобный их собственному. Почему? Потому что они в своей природе не знают ничего лучше собственного разума. А между тем божественный разум есть причина всего, разум человека есть лишь следствие; что же может быть общего между

⁷⁹ В таком случае уже не вера двигала бы горы, а Алгебра.

тем и другим? Разве то же, – прибавляет он, – что между созвездием Пса, сияющим на небе, и тем псом, который бежит по улице, – одно только имя»⁸⁰.

Как видите, все положительное в науках, называемых точными, исходит из того, что они занимаются *количествами*, иными словами, предметами ограниченными. Естественно, что ум, имея возможность полностью объять эти предметы, достиг в познании их высочайшей достоверности, ему доступной. Но вы видите также и то, как ни значительно прямое наше участие в создании этих истин, мы их все же не из себя извлекаем. Первые идеи, из которых истекают эти истины, даны нам извне. Итак, вот какие логические следствия вытекают сразу из самой природы этих познаний, наиболее близких к доступной нам достоверности: они относятся лишь к чему-то ограниченному, они не рождаются непосредственно в нашем мозгу; мы в этой области понятий развиваем наши способности лишь по отношению к конечному, и мы здесь ничего не выдумываем. Так что же мы найдем, если захотим приложить правила, усвоенные при приобретении этих познаний, к познаниям другого рода? Что абсолютная форма познанного предмета, каков бы он ни был, должна быть непременно формой чего-то конечного; что место его и познавательной области должно находиться вне нас. Ведь именно таковы естественные условия достоверности. А в каком положении, исходя из этого, окажемся мы по отношению к предметам в области духовной? Прежде всего, где предел данных, входящих в область психологии и морали? Предела нет. Затем, где совершается моральное действие? В нас самих. Итак, тот прием, который применяется разумом в области положительных понятий, может ли быть им использован в этой другой области? Отнюдь нет. Но, в таком случае, как достигнуть очевидности? Что касается меня, я этого не знаю. Странно то, что, как ни просто это рассуждение, философия никогда до него не доходила. Никогда она не решалась отчетливо установить это существенное различие двух областей человеческого знания; она всегда смешивала конечное с бесконечным, видимое с невидимым, поддающееся восприятию чувств с неподдающимся. Если иногда она и говорила другое, в глубине своей мысли она никогда не сомневалась, что мир духовный можно познать так же, как и мир физический, изучая его с циркулем в руке, вычисляя, измеряя величины духовные, как и материальные, производя опыты над существом, одаренным разумом, как над существом неодушевленным. Удивительно, как ленив человеческий разум! Чтобы избавиться от труда, которого требует ясное уразумение высшего мира, он искажает этот мир, он себя самого искажает и шествует затем своим путем, как ни в чем не бывало. Мы еще увидим, почему он так поступает.

Не надо думать к тому же, будто в естественных науках все сводится к наблюдению и опыту. Одна из тайн их блестящих методов – в том, что наблюдению подвергают именно то, что может на самом деле стать предметом наблюдения. Если хотите, это начало отрицательное, но оно сильнее, плодотворнее положительного начала. Именно этому началу обязана своим успехом новая химия; это начало очистило общую физику от метафизики и со времен Ньютона сделалось ее главным правилом и основанием ее метода. А что это означает? Не иное что, как то, что совершенство этих наук, все их могущество проистекают из умения всецело ограничить себя принадлежащей им по праву областью. Вот и все. А в чем состоит самый процесс наблюдения? Что делаем мы, когда наблюдаем движение светил на небесном своде или движение жизненных сил в организме: когда мы изучаем силы, движущие тела или сотрясающие молекулы, из коих тела состоят; когда занимаемся химией, астрономией, физикой, физиологией? Мы делаем вывод из того, что было относительно того, что будет; связываем факты, следующие в природе непосредственно друг за другом, и выводим из этого ближайшее заключение. Вот неизбежный путь опытного метода. Но, в порядке нравственном, известно ли вам что-нибудь, что бы совершилось в силу постоянного, неотвратимого

⁸⁰ Спиноза.

закона, по которому вы могли бы делать заключение, как там, от одного факта к другому и предугадывать таким образом с уверенностью последующее на основании предшествующего? Ни в коем случае. Напротив, здесь совершается все лишь в силу свободных актов воли, но связанных между собою, не подчиненных другому закону, кроме своей прихоти, — одним словом, все сводится здесь к действию хотения и свободы человека. К чему бы здесь был метод опытный? Ровно ни к чему.

Вот чему, в сфере тех познаний, где ему дана возможность достигнуть своей высшей достоверности, учит нас естественный *ход* человеческого разума. Перейдем к поучению, которое вытекает из самого *содержания* этих познаний.

Положительные науки были, разумеется, всегда предметом изучения, но, как Вы знаете, лишь лет сто тому назад они сразу возвысились до теперешнего их состояния. Три открытия сообщили им толчок, вознесший их на эту высоту: *анализ* — создание Декарта, *наблюдение* — создание Бэкона и небесная *геометрия* — создание Ньютона. Анализ ограничивается областью математики и нас здесь не касается; заметим только, что он вызвал приложение начала необоснованной принудительности к нравственным наукам, а это сильно повредило их успехам. Новый способ изучать естественные науки, открытый Бэконом, имеет величайшую важность для всей философии, ибо он придал ей эмпирическое направление, которое надолго определило весь строй современной мысли. Но в настоящем нашем исследовании нас особенно занимает закон, в силу которого все тела тяготеют к одному общему центру; этим законом мы и займемся.

С первого взгляда кажется, будто все силы природы сводятся к всемирному тяготению; а между тем эта сила природы отнюдь не единственная; и именно поэтому закон, которому природа подвластна, имеет, на наш взгляд, такой глубокий смысл. Само по себе притяжение не только не объясняет всего в мире, но оно вообще ничего еще не объясняет. Если бы оно одно действовало, то вся вещественность обратилась бы в одну бесформенную и инертную массу. Всякое движение в природе производится двумя силами, возбуждающими в движимом стремление в двух противоположных направлениях, и в космическом движении эта истина проявляется всего явственнее. А между тем астрономы, удостоверившись, что тела небесные подлежат закону тяготения и что действия этого закона могут быть вычислены с точностью, превратили всю систему мира в геометрическую задачу, и теперь самый общий закон природы воспринимают при помощи некоторого рода математической фикции, под одним именем Притяжения, или Всемирного Тяготения. Но есть еще другая сила, без которой тяготение ни к чему бы не привело: это *Начальный толчок*, или *Отталкивание* (Projection). Итак, вот две движущие силы природы: *Тяготение* и *Отталкивание*. На отчетливой идее совокупного действия этих двух сил, как она нам дается наукой, покоится все учение о *Параллелизме* двух миров: сейчас нам приходится только применить эту идею к сочетанию тех двух сил, которые нами ранее установлены в духовной области, одной — силы, сознаваемой нами, — это наша свободная воля, наше хотение, другой, нами не сознаваемой, — это действие на наше существо *некоей вне нас лежащей силы*, и затем посмотреть, каковы будут последствия⁸¹.

⁸¹ Без сомнения, применения открытого Ньютоном закона в области предметов осязаемых чрезвычайно, и число их будет с каждым днем еще возрастать. Но не следует забывать, что закон падения тяжестей установлен Галилеем, закон движения планет — Кеплером. Ньютону принадлежит только счастливое вдохновение — связать воедино оба эти закона. Впрочем, все относящееся к этому славному открытию чрезвычайно важно. Немудрено, что один выдающийся геометр сожалел, что нам неизвестны некоторые из формул, которыми Ньютон пользовался при своей работе; наука, конечно, много бы выиграла от находки этих талисманов гения. Но можно ли серьезно думать, что вся сверхъестественность гениальности Ньютона, вся его мощь заключаются в одних его математических приемах? Разве мы не знаем, что в этом возвышенном уме было еще что-то, кроме способности к вычислениям? Я Вас спрашиваю, рождалась ли когда-либо мысль подобного масштаба в разуме безбожном? Истина столь величественная дана ли была когда-либо миру разумом неверующим? И можно ли представить себе, будто в то время, когда Ньютон бежал от опустошавшей Лондон эпидемии в Кембридж и закон

Нам известно Притяжение во множестве его проявлений; оно беспрестанно обнаруживается перед нашими глазами; мы его измеряем; мы имеем о нем знание вполне достоверное. Все это, как Вы видите, точно соответствует представлению, которое мы имеем о нашей собственной силе. О толчке мы знаем только <его абсолютную необходимость; и совершенно то же знаем мы и> о божественном его действии на нашу душу. И тем не менее мы одинаково убеждены в существовании как той, так и другой силы. Итак, в обоих случаях мы имеем: познание отчетливое и точное одной силы, познание смутное и темное – другой, но *совершенную достоверность* обеих. Таково непосредственное приложение представления о вещественном порядке мира, и вы видите, что оно совершенно естественно является уму. Но должно еще принять во внимание, что астрономический анализ распространяет закон нашей Солнечной системы и на все звездные системы, заполняющие небесные пространства, а молекулярная теория принимает его за причину самого образования тел, и что мы имеем полное право почитать закон нашей системы общим едва ли не для всего мироздания; таким образом, эта точка зрения получает чрезвычайно важное значение.

Впрочем, все разграничения наши между существами, все произвольно измышляемые нами ради удобства их различия, все это есть ничто в применении к самому творческому началу. Что бы мы ни делали, в нас есть внутреннее ощущение реальности, высшей по сравнению с окружающей нас видимой реальностью. И эта иная реальность не есть ли единственная истинно реальная, реальность *объективная*, которая охватывает всецело существо и растворяет нас самих во всеобщем единстве? В этом-то единстве и стираются все различия, все пределы, которые устанавливает разум в силу своего несовершенства и ограниченности своей природы; и тогда во всем бесконечном множестве вещей остается одно только действие, единственное и всеобщее. И в самом деле, как внутреннее ощущение нашей собственной природы, так и восприятие Вселенной не позволяют нам постигнуть все сотворенное иначе, как в состоянии непрерывного движения. Таково мировое действие. Поэтому в философии идея движения должна предварять всякую другую. Но идею движения придется искать в геометрии, ибо лишь там мы находим ее очищенной от какой бы то ни было произвольной метафизики и только в линейном движении можем мы воспринять абсолютное значение всякого движения вообще. И что же? Геометр не может себе представить никакого движения, кроме движения сообщенного. Он поэтому принужден исходить из того, что *движущееся* тело само по себе инертно и что всякое движение есть следствие побуждения со стороны. Итак, и в наивысшем отвлечении, и в самой природе мы постоянно возвращаемся к какому-то действию (action), внешнему и первичному, независимо от рассматриваемого предмета. Стало быть, идея движения сама по себе, по неумолимому требованию логики, вызывает представление о таком действии, которое отлично от всякой силы и от всякой причины, находящихся в самом движущемся предмете.

И вот почему, к тому же, человеческому разуму так трудно освободиться от старого заблуждения, будто все идеи возникают в нем через внешние чувства. Все дело в том, что в мире нет ничего, в чем мы были бы более склонны сомневаться, чем в присущей нам самостоятельной силе, и несостоятельность системы сенсуалистов именно в том, что система эта приписывает вещественному непосредственное воздействие на невещественное и таким образом заставляет тела сталкиваться с сознаниями, вместо того чтобы приводить в соприкосновение предметы одной и той же природы, как в области физической, т. е. одни созна-

вещественности блеснул его духу и разодралась завеса, скрывавшая природу, в благочестивой душе его были одни только цифры? Странное дело, есть еще люди, которые не могут подавить в себе улыбки жалости при мысли о Ньюtone, комментирующем Апокалипсис. Не понимают, что великие открытия, составляющие гордость всего человеческого рода, могли быть сделаны только тем самым Ньютоном, каким он был, гением столь же покорным, сколь и всемогущим, а отнюдь не тем высокомерным человеком, каким его хотят представить. Повторю еще раз: видано ли, чтобы человек, не говоря уж атеист, но хотя бы только равнодушный к религии, раздвинул, как он, границы науки за пределы, ей, казалось, предназначенные?

ния с другими сознаниями. И, наконец, проникаемся мыслью, что в чистой идее движения вещественность решительно ни при чем: все различие между движением материальным и движением в области духовной состоит в том, что элементы первого – пространство и время, а последнего – одно только время; а ведь очевидно, что идея времени уже достаточна для возникновения идеи движения. Итак, закон движения есть закон мировой всеобщности, и то, что мы сказали о физическом движении, вполне применимо к движению умственному или нравственному.

Что же должно заключить из всего сказанного? Что нет ни малейшего затруднения принять собственные действия человека за причину *случайную* (*principe occasional*): за силу, которая действует лишь поскольку она соединяется с другой высшей силой, точно так, как притяжение действует лишь в совокупности с силой отталкивания. Вот то, к чему мы хотели прийти.

Может быть подумают, что в этой системе нет места для философии нашего Я. И ошибутся. Напротив, эта философия прекрасно уживается с изложенной системой, она только сведена здесь к своей действительной значимости, вот и все. Из того, что мы сказали о двойном действии, управляющем мирами, отнюдь не следует, чтобы наша собственная деятельность сводилась к нулю; значит, должно разобраться в присущей нам власти и пытаться понять ее по возможности правильно. Человек постоянно побуждается силой, которой он не ощущает, это правда; но это внешнее действие имеет на него влияние через сознание, следовательно, как бы ни дошла до меня идея, которую я нахожу в своей голове, нахожу я ее там только потому, что сознаю ее. А сознавать – значит действовать. Стало быть, я действительно и постоянно действую, хотя в то же время подчиняюсь чему-то, что гораздо сильнее меня, — *я сознаю*. Одно не устраняет другого, одно следует за другим, его не исключая, и первый факт мне так же доказан, как и последний. Вот если меня спросят, как именно возможно такое действие на меня извне, это совсем другой вопрос, и вы, конечно, понимаете, что здесь не время его рассматривать: на него должна ответить философия более высокого порядка. Здравому смыслу следует только установить факт внешнего воздействия и принять его за одно из своих основных верований; остальное его не касается. Впрочем, кто не знает, как чужая мысль вторгается в наше сознание? Как мы подчиняемся мнениям, убеждениям других? Всякий, кто об этом размышлял, отлично понимает, что один разум подчиняется другому и вместе с тем сохраняет всю свою власть, все свои способности. Итак, несомненно, великий вопрос о свободе воли, как бы он ни был запутан, не представлял бы затруднений, если бы умели вполне проникнуться идеей, что природа существа, одаренного разумом, заключается только в сознании и что, поскольку одаренное разумом существо сознает, оно не утрачивает ничего из своей природы, каким бы путем сознание в него ни вливалось.

Дело в том, что шотландская школа, так долго царившая в философском мире, сместила все вопросы идеологии. Вы знаете, что она берется найти источник всякой человеческой мысли и все объяснить, обнаружив нить, связывающую настоящее представление с представлением предшествовавшим. Дойдя до происхождения известного числа идей путем их ассоциации, заключили, что все совершающееся в нашем сознании происходит на основании того же принципа, и с тех пор не пожелали принимать во внимание ничего другого. Поэтому вообразили, что все сводится к факту осознания, и на этом-то факте была построена вся эмпирическая психология. Но позвольте спросить, разве есть в мире что-либо более согласное с нашим ощущением, нежели происходящая постоянно такая смена идей в нашем мозгу, в которой мы не принимаем никакого участия? Разве мы не твердо убеждены в такой непрерывной работе нашего ума, которая совершается помимо нашей воли? Задача, впрочем, не была бы несколько разрешена, если бы даже и удалось свести все наши идеи к некоторому ограниченному числу их и точно установить их источник. Конечно, в нашем уме не совершается ничего, что не было бы так или иначе связано с совершившимся там ранее;

но из этого никак не следует, чтобы каждое изменение моей мысли, форма, которую она поочередно принимает, вызывалось моей собственной властью: здесь, следовательно, имеет место еще огромное действие, совершенно отличное от моего. Итак, эмпирическая теория в лучшем случае устанавливает некоторые явления нашей природы, но о всей совокупности явлений она не дает никакого понятия.

Наконец, собственное действие человека исходит действительно от него лишь в том случае, когда оно соответствует закону. Всякий раз, как мы от него отступаем, действия наши определяются не нами, а тем, что нас окружает. Подчиняясь этим чуждым влияниям, выходя из пределов закона, мы себя уничтожаем. Но покоряясь божественной власти, мы никогда не имеем полного сознания этой власти; поэтому она никогда не может попираť нашей свободы. Итак, наша свобода заключается лишь в том, что мы не ощущаем нашей зависимости: этого достаточно, чтобы почестъ себя совершенно свободными и солидарными со всем, что мы делаем, со всем, что мы думаем. К несчастью, человек понимает свободу иначе: *он почитает себя свободным*, говорит Иов, *как дикий осленок*.

Да, я свободен, могу ли я в этом сомневаться? Пока я пишу эти строки, разве я не знаю, что я властен их не писать? Если провидение и определило мою судьбу бесповоротно, какое мне до этого дело, раз его власти я не ощущаю? Но с идеей о моей свободе связана другая ужасная идея, страшное, беспощадное следствие ее – злоупотребление моей свободой и *зло* как его последствие. Предположим, что одна-единственная молекула вещества один только раз приняла движение произвольное, что она, например, вместо стремления к центру своей системы сколько-нибудь отклонилась в сторону от радиуса, на котором находится. Что же при этом произойдет? Не потрясется ли тотчас весь порядок мироздания? Не сдвинется ли с места всякий атом в бесконечных пространствах? Мало того, все тела стали бы по произволу в беспорядке сталкиваться и взаимно разрушать друг друга. Но что же? Понимаете ли вы, что это самое делает каждый из нас в каждое мгновение? Мы только и делаем, что вовлекаемся в произвольные действия и всякий раз потрясаем все мироздание. И эти ужасные опустошения в недрах творения мы производим не только внешними действиями, но каждым душевным движением, каждой из сокровеннейших наших мыслей. Таково зрелище, которое мы представляем Всевышнему. Почему же он терпит все это? Почему не выметет из пространства этот мир возмущившихся тварей? И еще удивительнее – зачем наделил он их этой страшной силой? Он так восхотел. *Сотворим человека по нашему образу и подобию*, сказал он. Этот образ Божий, его подобие – это наша свобода. Но, сотворив нас столь удивительным образом, он к тому же одарил нас способностью знать, что мы противимся своему Создателю. Можно ли сомневаться, что, подарив нам эту удивительную силу, как будто идущую вразрез с мировым порядком, он не восхотел дать ей должное направление, не восхотел просветить нас, как мы должны ее использовать? Слову Всевышнего внимало сначала все человечество, олицетворенное в одном человеке, в котором заключались все грядущие поколения; впоследствии Он просветил отдельных избранных, дабы они хранили истину на земле, и, наконец, признал достойным одного из нас быть облеченным божественным авторитетом, быть посвященным во все его сокровенности, так что он стал с ним *одно*, и возложил на него поручение сообщить нам все, что нам доступно из божественной тайны. Вот чему учит нас священная мудрость. Но наш собственный разум не говорит ли нам то же самое? Если бы не поучал нас Бог, разве мог бы существовать хотя бы мгновение мир, мы сами и что бы то ни было? Разве все не превратилось бы вновь в хаос? Это несомненно так, и наш собственный разум, как скоро он выходит из ослепления обманчивой самонадеянности, из полного погружения в свою гордыню, говорит то же, что и вера, а именно, что Бог необходимо должен был поучать и вести человека с первого же дня его создания и что он никогда не переставал и не перестанет поучать и вести его до скончания века.

Сокольники, 30 июня

Письмо пятое

*Much of the soul they talk, but all awry <Они толкуют много о душе,
но все превратно>.*

Мильтон

Вы видите, все приводит нас снова к абсолютному положению: закон не может быть дан человеческим разумом самому себе точно так же, как разум этот не в силах предписать закон любой другой созданной вещи. Закон духовной природы нам раз навсегда предуказан, как и закон природы физической: если мы находим последний готовым, то нет ни малейшего основания полагать, будто дело обстоит иначе с первым. Однако свет нравственного закона сияет из отдаленной и неведомой области подобно сиянию тех солнц, которые движутся в иных небесах и лучи которых, правда ослабленные, все же до нас доходят; наши очи должны быть отверсты для восприятия этого света, как только он заблестит перед нами. Вы видели, мы пришли к этому заключению путем логических выводов, которые прояснили для нас некоторые элементы тождества между тем и другим порядком: материальным и духовным. Школьная психология, хотя и имеет почти ту же отправную точку, приводит к другим последствиям. Она заимствует у науки о природе один лишь прием наблюдения, т. е. именно то, что менее всего применимо к предмету ее изучения. И вот, вместо того чтобы возвыситься до подлинного единства вещей, она только смешивает то, что должно оставаться навеки раздельным, вместо закона она и находит хаос. Да, сомнения нет, имеется абсолютное единство во всей совокупности существ: это именно и есть то, что мы по мере сил пытаемся доказать; скажу больше: в этом-то и заключается *Символ веры* (credo) всякой здоровой философии. Но это единство объективное, стоящее совершенно вне ощущаемой нами действительности; нет сомнения, это факт огромной важности, и он бросает неизреченный свет на великое ВСЕ: оно создает логику причин и следствий, но оно не имеет ничего общего с тем пантеизмом, который исповедует большинство современных философов, – пагубное учение, сообщающее ныне свою ложную окраску всем философским направлениям и ввергающее все до единой современные системы, как бы они ни расточали своих обетов в верности спиритуализму, в необходимость обращаться с фактами духовного порядка совершенно так, как будто они имеют дело с фактами порядка материального.

Ум по природе своей стремится к единству, но, к несчастью, пока еще не поняли как следует, в чем заключается настоящее единство вещей. Чтобы в этом удостовериться, достаточно взглянуть на то, как большинство мыслящих понимает бессмертие души. Вечно живая душа и Бог, подобно ему вечно живая, одна абсолютная бесконечность и другая абсолютная бесконечность рядом с первой, – разве это возможно? Абсолютная бесконечность не есть ли абсолютное совершенство? Как же могут сосуществовать два вечных существа, два существа совершенных? А дело вот в чем. Так как нет никакого законного основания предполагать в существе, состоящем из сознания и материи, одновременное уничтожение обеих составных частей, то человеческому уму естественно было прийти к мысли, что одна из этих частей может пережить другую. Но на этом и надо было остановиться. Пусть я проживу сто тысяч лет после того мгновения, которое я называю смертью и которое есть чисто физическое явление, с моим сознательным существом не имеющее ничего общего, отсюда еще далеко до бессмертия. Как все инстинктивные идеи человека, идея бессмертия души была сперва простой и разумной; но, попав затем на слишком тучную почву Востока, она там разрослась сверх меры, и вылилась в конце концов в нечестивый догмат, в котором творение смешивается с Творцом, так что черта, навеки их разделяющая, стирается, дух подавляется огромной тяжестью беспредельного будущего, все смешивается и запутывается. А

затем эта идея вторглась вместе со многими другими, унаследованными от язычников, в христианство, в этой новой силе она нашла себе надежную опору и смогла, таким образом, совершенно покорить себе сердце человека. Между тем всякому известно, что христианская религия рассматривает вечную жизнь как награду за жизнь совершенно святую; итак, если вечную жизнь приходится еще заслужить, то заранее обладать ею, очевидно, нельзя; будучи воздаянием за совершенную жизнь, как может она быть исходом существования, протекшего в грехе? Удивительное дело: хотя дух человеческий осенен высочайшим из светочей, он все же не в силах овладеть полной истиной и постоянно мечется между истинным и ложным.

Всякая философия, приходится сказать это, неизбежно заключена в некий роковой круг без исхода. В области нравственности она сначала предписывает сама себе закон, а затем начинает ему подчиняться, неизвестно ни как, ни почему; в области метафизики она всегда предварительно устанавливает какое-то начало, из которого затем, по ее воле, вытекает целый мир вещей, ею же созданных. Это – вечное *petitio principii*⁸², и при этом оно неизбежно, иначе все участие разума в этом деле свелось бы, очевидно, к нулю.

Вот, например, как поступает самая положительная, самая строгая философия нашего времени. Она начинает с установления факта, что орудием познания является наш разум, а поэтому необходимо прежде всего научиться его познать; без этого, утверждает она, мы не сможем использовать его должным образом. Далее философия эта и принимается из всех сил рассекать и расчленять самый разум. Но при помощи чего производит она эту необходимую предварительную работу, эту анатомию интеллекта? Не посредством ли этого самого разума? Итак, вынужденная в этой своей наипервейшей и главной операции взяться за орудие, которым она, по собственному признанию, не умеет еще пользоваться, как может она прийти к искомому познанию? Этого понять нельзя. Но и это еще не все. Более уверенная в себе, чем все прежние философские системы, она утверждает, что разум надо трактовать точь-в-точь как внешние предметы. Тем же оком, которое вы направляете на внешний мир, вы можете рассмотреть и свое собственное существо; точно так, как вы ставите перед собой мир, можете вы перед собой поставить и самого себя, и как вы над миром размышляете и производите над ним опыты, так размышляйте и производите опыты над самим собой. Закон тождества, будучи общим для природы и для разума, позволяет вам одинаково обращаться и с нею и с ним. На основании ряда тождественных явлений материального порядка вы выводите заключение об общем явлении; что же мешает вам из ряда одинаковых фактов заключать к всеобщему факту и в порядке умственном? Как вы в состоянии заранее предвидеть факт физический, с одинаковой уверенностью вы можете предвидеть и факт духовный; смело можно в психологии поступать так, как в физике. Такова эмпирическая философия. По счастью, философия эта стала в настоящее время уделом лишь нескольких ленивых умов, которые упорно топчутся на старых путях.

Но вот новый свет уже пробивается сквозь обступающую нас тьму, и все движение философии, вплоть до Эклектизма, который так благодушен и лъстив, что, кажется, только и помышляет о самоупраждении, наперебой стремится вернуть нас на более надежные пути. Среди умственных течений современности есть, в частности, одно, которое нужно особенно выделить. Это род тонкого Платонизма, новое порождение глубокой и мечтательной Германии; это преисполненный возвышенной умозрительной поэзии трансцендент<аль>ный Идеализм, который уже потряс ветхое здание философских предрассудков в самой их основе. Но он пребывает пока на таких эфирных высотах, на которых трудно дышать. Он как бы витает в прозрачном воздухе, порою теряясь в неясных или мрачных сумерках, так что можно принять его за одно из фантастических видений, которые подчас появляются на южном небе,

⁸² Ошибка в доказательстве, состоящая в том, что для доказательства пользуются доводом, еще не доказанным (*Примеч. М. О. Гершензона.*).

а через мгновение исчезают, не оставляя следа ни в воздухе, ни в памяти. Будем надеяться, что прекрасная и величественная мысль эта вскоре спустится в обитаемые пространства, мы будем ее приветствовать с живейшим сочувствием. А пока предоставим ей шествовать по ее извилистому пути, а сами пойдем намеченной себе дорогой, более надежной.

Так вот, если, как мы убедились, движение в мире нравственном, как и движение в мире физическом, последствие изначального толчка, то не следует ли из этого, что то и другое движение в своей непрерывности подчинены одним и тем же законам, а следовательно, все явления жизни духа могут быть выведены по аналогии? Значит, подобно тому, как столкновение тел в природе служит продолжением этого первого толчка, сообщенного материи, столкновение сознаний также продолжает движение духа; подобно тому, как в природе всякая вещь связана со всем, что ей предшествует и что за ней следует, так и всякий отдельный человек и всякая мысль людей связаны со всеми людьми и со всеми человеческими мыслями, предшествующими и последующими; и как едина природа, так, по образному выражению Паскаля, и вся *последовательная смена людей есть один человек, пребывающий вечно*, и каждый из нас – участник работы сознания, которая совершается на протяжении веков. Наконец, подобно тому, как некая строящая и непрерывная работа элементов материальных или атомов, т. е. воспроизведение физических существ, составляет материальную природу, подобная же работа элементов духовных или идей, т. е. воспроизведение умов, составляет природу духовную; и если я постигаю всю осязаемую материю как одно целое, то я должен одинаково воспринимать и всю совокупность сознаний как единое и единственное сознание.

Главным средством формирования душ, без сомнения, является слово: без него нельзя себе представить ни происхождения сознания в отдельной личности, ни его развития в человеческом роде. Но одного только слова недостаточно для того, чтобы вызвать великое явление всемирного сознания, слово далеко не единственное средство общения между людьми, оно, следовательно, совсем не обнимает собой всю духовную работу, совершающуюся в мире. Тысячи скрытых нитей связывают мысли одного разумного существа с мыслями другого; наши самые сокровенные мысли находят всевозможные средства вылиться наружу; распространяясь, переkreщиваясь между собой, они сливаются воедино, сочетаются, переходят из одного сознания в другое, дают ростки, приносят плоды – и, в конце концов, порождают общий разум. Иногда случается, что проявленная мысль как будто не производит никакого действия на окружающее; а между тем движение передалось, толчок произошел; в свое время мысль найдет другую, родственную, которую она потрясет, прикоснувшись к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и поразительное действие в мире духовном. Вы знаете такой физический опыт: подвешивают несколько шариков в ряд; отстраняют первый шарик, и последний шарик отскакивает, а промежуточные остаются неподвижными. Вот так и передается и мысль, проносясь сквозь мозг людей⁸³. Сколько великих и прекрасных мыслей, откуда-то явившихся, охватили бесчисленные массы и поколения!

Сколько возвышенных истин живет и действует, властвуя или светясь среди нас, и никто не знает ни откуда явились эти грозные силы или блестящие светочи, ни как они пронеслись через времена и пространства! Цицерон где-то сказал: «Природа так устроила человеческий облик, что он выявляет чувства, скрытые в сердце: что бы мы ни чувствовали, глаза наши всегда это отражают». Это совершенно верно: в разумном существе все выдает его затаенную мысль, весь человек целиком сообщается ближнему, и так происходит зарождение сознаний. Ибо интеллект возникает ничуть не более чудесными путями, чем все остальное. Здесь такое же зарождение, как и всякое другое. Один и тот же закон имеет силу при

⁸³ Известно, что знаменитое доказательство бытия Божьего, приписываемое Декарту, принадлежит Ансельму, жившему в XI в. Доказательство оставалось погребенным в каком-то уголке человеческого разума в течение почти 500 лет, пока не явился Декарт и не вручил его философии.

любом воспроизведении, какова бы ни была его природа: все возникает через соприкосновение или слияние существ, никакая сила, никакая власть не действуют обособленно. Необходимо только принять во внимание, что самый факт зарождения происходит где-то вне нашего непосредственного наблюдения. Подобно тому, как в физическом мире вы наблюдаете действие различных природных сил – притяжения, ассимиляции, сродства и т. п., но в последнюю очередь подходите к факту неуловимому, к самому акту, сообщающему физическую жизнь, – и в мире духовном мы ясно различаем последствия, вызванные различными человеческими силами, но в конце концов мы подходим к чему-то, что ускользает от нашего непосредственного восприятия, – к самому акту передачи духовной жизни.

А что такое то мировое сознание, которое соответствует мировой материи и на лоне которого протекают явления духовного порядка подобно тому, как явления физического протекают на лоне материальности? Это не что иное, как совокупность всех идей, которые живут в памяти людей. Для того чтобы стать достоянием человечества, идея должна пройти через известное число поколений; другими словами, идея становится достоянием всеобщего разума лишь в качестве традиции. Но речь идет здесь отнюдь не только о тех традициях, которые сообщаются человеческому уму историей и наукой: эти традиции составляют лишь часть мировой памяти. А много есть и таких, которые никогда не оглашались перед народными собраниями, никогда не были воспеты рапсодами, никогда не были начертаны ни на колоннах, ни на пергаменте; самое время их возникновения никогда не было проверено исчислением и приурочено к течению светил небесных; критика никогда не взвешивала их на своих пристрастных весах; их влагает в глубину душ неведомая рука, их сообщают сердцу новорожденного первая улыбка матери, первая ласка отца. Таковы всемогущие воспоминания, в которых сосредоточен опыт поколений: всякий индивидуум их воспринимает с воздухом, которым дышит. И в этой-то среде совершаются все чудеса сознания. Правда, этот сокрытый опыт веков в целостности не доходит до каждой частицы человечества; но он все же составляет духовную сущность Вселенной, он течет в жилах человеческих рас, он воплощается в образовании их тел и, наконец, служит продолжением других традиций, еще более таинственных, не имеющих корней на земле, но составляющих отправную точку всех обществ. Твердо установлено, что в каждом племени, как бы оно ни обособилось от основного мирового движения, всегда находятся некоторые представления, более или менее отчетливые, о Высшем Существовании, о добре и зле, о том, что справедливо и что несправедливо; без этих представлений невозможно было бы существование племени совершенно так же, как и без грубых продуктов земли, которую племя топчет, и деревьев, которые дают ему приют. Откуда эти представления? Никто этого не знает; предания – вот и все; докопаться до их происхождения невозможно: дети восприняли их от отцов и матерей – вот и вся их родословная. А затем на эти первоначальные понятия нисходят века, на них скапливается опыт, на них создается наука, из этой невидимой основы вырастает человеческий дух. И вот как, путем наблюдений действительности, мы подошли к тому самому, к чему привело нас и рассуждение: к начальному толчку, без которого, как мы убедились, ничего бы не двинулось в природе и который необходим здесь точно так, как и там.

И скажите на милость: можете ли вы допустить мыслящее существо без всякой мысли? Можете ли вы представить себе в человеке разум, ранее чем он пустил его в дело? Можете ли вы себе представить что-либо в голове ребенка до того, как ему было преподано нечто свидетелями появления его на свет? Находили детей среди лесных зверей, нравы которых эти дети себе усвоили; они затем восстанавливали свои умственные способности; но эти дети не могли быть покинуты с первых дней своего существования. Детеныш самого сильного животного неизбежно погибнет, оставленный самкой тотчас же после родов; а человек – слабейшее из животных, он требует материнского молока в течение шести или семи месяцев, даже череп его остается незакостеневшим несколько дней после рождения, – как бы он мог

просуществовать первое время своей жизни, не попав в материнские руки? Значит, дети эти до разлуки с родителями восприняли зачатки умственности. Я ручаюсь, что человек, очутившийся без родителей или иного человеческого существа, как только открылись на свет его глаза, если бы он ни разу не ощутил на себе взгляда одного из себе подобных, не услышал бы ни единого звука их голоса и в таком отчуждении вырос до сознательного возраста, ничем не отличался бы от других млекопитающих, которых натуралист причислит к тому же роду. Может ли быть что-либо бессмысленнее, чем предположение, будто каждая человеческая личность, как животное, является начинателем своей породы? А между тем именно такова гипотеза, служащая основой всего идеологического построения. Предполагают, что это крохотное неоформившееся существо, еще связанное через пуповину с чревом матери, является мыслящим существом. Но чем это подтверждается? Неужели по гальваническому содроганию, которое в нем заметно, определите вы небесный дар, ему уделенный? Или в бессмысленном его взгляде, в его слезах, в пронзительном крике распознали вы существо, созданное по образу Божьему? Есть в нем, спрашиваю я, какая-нибудь мысль, которая бы не вытекала из небольшого круга понятий, вложенных в его голову матерью, кормилицей или другим человеческим существом в первые дни его бытия? Первый человек не был крикливым ребенком, он был человеком сложившимся, поэтому он вполне мог быть подобен Богу и действительно был Ему подобен, но, конечно, уж вовсе не подобен образу Божьему зародыш человека. Истинную природу человека составляет то, что из всех существ он один способен просвещаться беспредельно: в этом и состоит его превосходство над всеми созданиями. Но для того, чтобы он мог возвыситься до свойств мыслящего существа, необходимо, чтобы чело его озарилось лучом высшего разума. В день создания человека Бог с ним беседовал, и человек слушал и внимал ему: таково истинное происхождение человеческого разума; психология никогда не отыщет объяснения более глубокого. В дальнейшем он частично утратил способность воспринимать голос Бога, это было естественным следствием дара полученной им неограниченной свободы. Но он не потерял воспоминания о первых Божественных словах, которые воспринял его слух. Вот этот-то Божественный глагол к первому человеку, передаваемый от поколения к поколению, поражает человека в колыбели, он-то и вводит человека в мир сознаний и превращает его в мыслящее существо. Тем же действием, которое Бог совершал, чтобы извлечь человека из небытия, он пользуется и сейчас для создания всякого нового мыслящего существа. Это именно Бог постоянно обращается к человеку через посредство ему подобных.

Таким образом, представление о том, будто человеческое существо является в мир с готовым разумом, не имеет, как вы видите, никакого основания ни в опытных данных, ни в отвлеченных доводах. Великий закон постоянного и прямого воздействия высшего начала повторяется в общей жизни человека, как он осуществляется во всем творении. Там – это сила, заключающаяся в *количестве*, здесь – это принцип, заключающийся в *традиции*; но в обоих случаях повторяется одно и то же: внешнее воздействие на существо, каково бы оно ни было, воздействие, сначала мгновенное, а затем длительное и непрерывное.

Как бы ни замыкаться в себе, как бы ни копать в сокровенных глубинах своего сердца, мы никогда там ничего не найдем, кроме мысли, унаследованной от наших предшественников на земле. Это разумение, как его ни разлагать, как его ни расчленять на части, всегда останется разумением всех поколений, сменившихся со времен первого человека и до нас; и когда мы размышляем о способностях нашего ума, мы пользуемся лишь более или менее удачно этим самым мировым разумом, с тем чтобы наблюдать ту его долю, которую мы из него восприняли в продолжение нашего личного существования. Что означает то или иное свойство души? Это идея – идея, которую мы находим в своем уме вполне готовой, не зная, как она в нем появилась, а эта идея в свою очередь вызывает другую. Но первая-то идея, откуда, по-вашему, может она в нас возникнуть, если не из того океана идей, в который мы

погружены? Лишенные общения с другими сознаниями, мы щипали бы траву, а не размышляли бы о своей природе. Если не согласиться с тем, что мысль человека есть мысль рода человеческого, то нет возможности понять, что она такое. Подобно всей остальной части в созданной Вселенной, ничто в мире сознаний не может быть постигнуто как совершенно обособленное, существующее само собой. И наконец, если справедливо, что в верховной, или *объективной*, действительности разум человеческий на самом деле есть лишь постоянное воспроизведение мысли Бога, то его разум во времени, или разум *субъективный*, очевидно, тот, который он, благодаря свободной воле, сам себе создал. Правда, школьная мудрость не считается со всем этим; для нее существует только один и единственный разум; для нее данный человек и есть тот, каким он вышел из рук Создателя; хотя и созданный свободным, он не употребил во зло своей свободы; при всем своем своеволии, он, подобно неодушевленным предметам, пребыл неизменным, повинуюсь непреклонной силе; бессчетные заблуждения, грубейшие предрассудки, им порожденные, преступления, которыми он запятнал себя, – ничто из всего этого не оставило следа в его душе. Вот он – тот самый, каким он был в тот день, когда Божественное дыхание оживило его земное существо, он столь же чист, столь же непорочен, как тогда, когда еще ничто не осквернило его юной природы; для этой школьной мудрости человек постоянно один и тот же, всегда и всюду; мы именно таковы, какими должны были быть; и вот – это скопище мыслей, неполных, фантастических, несогласованных, которое мы именуем человеческим умом, по ее мнению, оно именно и есть чистый разум, небесная эманация, истекшая из самого Бога; ничто его не изменило, ничто его не коснулось. Так рассуждает человеческая мудрость.

Тем не менее ум человеческий всегда ощущал потребность сызнова себя перестроить по идеальному образцу. До появления христианства он только и делал, что работал над созданием этого образца, который постоянно ускользал от него и над которым он постоянно продолжал трудиться; это и составляло великую задачу древности. В то время человек поневоле был обречен на искание образца в самом себе. Но удивительно то, что и в наши дни, имея перед собой возвышенные наставления, преподанные христианством, философия все еще подчас упорно пребывает в том кругу, в котором был замкнут Древний мир, а не помышляет о поисках образца совершенного разума вне человеческой природы, не думает, например, обратиться к возвышенному учению, предназначенному сохранить в среде людей древнейшие традиции мира, к той удивительной книге, которая столь явственно носит на себе печать абсолютного разума, т. е. именно того разума, который он ищет и не может найти. Стоит только несколько вдуматься с искренней верой в учение, раскрытое откровением, – и вас поразит то величавое выражение духовного совершенства, которое в этом учении царит нераздельно, вам откроется, что все выдающиеся умы, вами там встреченные, составляют лишь части единого обширного разума, который заполняет и пронизывает тот мир, в котором прошедшее, настоящее и будущее составляют одно неразделимое целое; вы почувствуете, что все там ведет к постижению природы такого разума, который не подчинен условиям времени и пространства, которым человек некогда обладал, который он утратил, который он некогда вновь обретет, который был нам явлен в лице Христа. Заметьте, что по этому вопросу философский спиритуализм ничем не разнится от противоположной системы, ибо, все равно, признаем ли мы человеческое разумение за пустое место, согласившись со старой формулой сенсуалистов: *нет ничего в разуме, чего бы не было сперва в ощущении*, или же предположим, что разум действует по присущей ему собственной силе, и повторим за Декартом: *я замыкаю все свои ощущения и я живу*, – и в том и в другом случае мы все же будем иметь дело с тем разумом, который мы сейчас в себе находим, а не с тем, который был нам дарован изначально; поэтому мы будем исследовать вовсе не подлинное духовное начало, но начало искаженное, искалеченное, извращенное произволом человека.

Впрочем, из всех известных систем, несомненно, самая глубокая и плодотворная по своим последствиям есть та, которая стремится, для того чтобы отчетливо понять явление разумности, добросовестно построить совершенно отвлеченный разум, существо исключительно мыслящее, не восходя при этом к источнику духовного начала. Но так как материалом, из которого эта система строит свой образец, служит ей человек в теперешнем его состоянии, то она-то все-таки вскрывает перед нами разум искусственный, а не разум первоначальный. Глубокий мыслитель, творец этой философии, не усмотрел, что все дело [заклучалось] только в том, чтобы представить себе разум, который бы имел одно волевое устремление: обрести и вызвать к действию разум высший, но такой разум, способ движения (*mode de mouvement*) которого заключался бы в совершенном подчинении закону, подобно всему существующему, а вся его сила сводилась бы к безграничному стремлению слиться с тем другим разумом. Если бы он избрал это своей исходной точкой, он бы, конечно, пришел к идее разума воистину чистого, потому что разум этот был бы простым отражением абсолютного разума и анализ этого разума привел бы его, без сомнения, к последствиям огромной важности, а сверх того, он не впал бы в ложное учение об *автономии* человеческого разума, о каком-то императивном законе, находящемся внутри самого нашего разума и дающем ему способность собственным порывом возвышаться до всей полноты доступного ему совершенства; наконец, другая, еще более самонадеянная философия, философия *всемогущества человеческого Я*, не была бы ему обязана своим существованием.

Но все же надо воздать ему должное: его создание и в теперешнем своем виде заслуживает с нашей стороны всяческого уважения. Тому направлению, которое он придал философским знаниям, обязаны мы всеми здоровыми идеями современности, сколько их ни есть в мире; и мы сами – только логическое последствие его мысли. Он измерил уверенной рукой пределы человеческого разума; он выяснил, что разум этот принужден принять два самых глубоких своих убеждения, а именно: существование Бога и неограниченность своего бытия, не имея возможности их доказать; он научил нас тому, что существует верховная логика, которая не подходит под нашу мерку и которая вне зависимости от нашей воли над нами тяготеет, и что имеется мир, отличный от нашего, а вместе с тем существующий одновременно с тем, в котором мы мечемся, и мир этот наш разум вынужден признать из опасения в противном случае самому ввергнуться в небытие, и, наконец, что именно отсюда мы должны почерпнуть все наши познания, чтобы затем применить их к миру реальному. И все же в конце концов приходится признать и то, что ему было предназначено только проложить новый путь философии и что если он оказал великие услуги человеческому духу, то лишь в том смысле, что заставил его вернуться вспять.

В итоге произведенного нами сейчас исследования получается следующее. Сколько ни есть на свете идей, все они последствия некоторого числа передаваемых традиционно понятий, которые так же мало составляют достояние отдельного разумного существа, как природные силы – принадлежность особи физической. *Архетипы* Платона, *врожденные идеи* Декарта, *a priori* Канта, все эти различные элементы мысли, которые весьма глубокими мыслителями по необходимости признавались за предваряющие какие бы то ни было проявления души, за предшествующие всякому опытному знанию и всякому самостоятельному действию ума, все эти изначала существующие зародыши разума сводятся к идеям, которые переданы нам от сознаний, предваривших нас к жизни и предназначенных ввести нас в наше личное бытие. Без восприятия этих результатов человек был бы просто-напросто двуногим или двуруким млекопитающим, не более и не менее, и это несмотря на лицевой угол, близкий к прямому, несмотря на размер своей черепной коробки, несмотря на вертикальное положение своего тела и т. д. Вложенные чудесным образом в сознание первого человеческого существа в день его создания той же рукой, которая направила планету по эллиптической орбите, которая привела в движение мертвую материю, которая даровала жизнь

органическому существу, – именно эти-то идеи сообщили разуму свойственное ему движение и кинули человека в тот огромный круг, который ему предначертано пройти. Идеи эти, возникающие посредством взаимного соприкосновения душ и в силу таинственного начала, которое увековечивает в созданном сознании действие сознания верховного, поддерживают жизнь природы духовной таким же порядком, как сходное соприкосновение и аналогичное начало поддерживают жизнь природы материальной. Так продолжается во всем первичное воздействие; так оно выливается окончательно в некое провидение, постоянное и непосредственное, простирающее свое действие на всю совокупность существ.

Раз это установлено, ясно, что нам еще должно исследовать: нам остается лишь проследить движение этих традиций в истории человеческого рода, чтобы выяснить, каким образом и где идея, первоначально вложенная в сердце человека, сохранилась в целостности и чистоте.

Письмо шестое

Можете спросить, каким образом среди множества потрясений, междоусобий, заговоров, преступлений и безумств находилось столько людей, занимавшихся полезными и изящными искусствами в Италии и затем в других христианских государствах; под владычеством турок мы этого не наблюдаем.

Вольтер. Опыт о нравах

Сударыня!

В предыдущих письмах вы видели, как важно правильно понимать развитие мысли в смене поколений, но вы также должны были видеть в них и другое: раз проникшись этой основной идеей, что в человеческом духе нет истины помимо собственноручно вложенной в нее Богом, когда он извлек человека из небытия, – вам должно было стать ясным и то, что нельзя рассматривать движение веков так, как их рассматривает вульгарная история. Приходится тогда признать, что провидение, или совершенно мудрый разум, не только управляет ходом событий, но и непосредственно и постоянно воздействует на разум человеческий. Если только допустить, что для первоначального движения разума в существе созданном потребовалось побуждение, исходящее не из его собственной природы, что его первые идеи, первые познания только и могли быть чудесными внушениями верховного разума, сила, создавшая его таким образом, должна была и далее оказывать на него то же действие, как и при сообщении ему первого движения.

Такое понимание жизни и прогресса мыслящего существа во времени и его развития должно стать для вас привычным, сударыня, если вы вполне восприняли то, до чего мы ранее договорились. Вы видели, что чисто метафизическое рассуждение вполне доказывает непрерывность внешнего воздействия на разум человека. Но нет надобности прибегать к метафизике, вывод последует и без нее: нельзя отвергнуть его, не отрицая посылок, из которых он вытекает.

Если задуматься над самым способом этого постоянного воздействия божественного разума в духовном мире, то обнаруживаешь, что оно не только должно быть таким, как мы только что видели, соответствующим его первоначальному действию, но еще и то, что осуществляться оно должно таким образом, чтобы человеческий разум оставался совершенно свободным и мог развить всю свою деятельность. Поэтому нет ничего удивительного, что существовал народ, среди которого традиция первоначальных внушений Бога сохранилась в большей чистоте, с большей определенностью, чем среди других, и что время от времени появлялись люди, через которых как бы возобновлялось первоначальное действие нравственного порядка. Если устранить этот народ, устранить этих избранных людей, то придется предположить, что у всех народов, во все эпохи всеобщей жизни человека, во всякой

отдельной личности Божественная мысль сохранялась одинаково полной, одинаково живой. Это означало бы уничтожение всякой личности и всякой свободы в мире, это было бы отрицанием данности. Ясно, что личность и свобода существуют лишь постольку, поскольку есть различия в умах, нравственных силах и познаниях. Наоборот, предполагая лишь у нескольких личностей у одного народа или в нескольких единичных умах, которым в особенности вверено сохранение этой сокровищницы, высшую степень подчинения первоначальным традициям или же особенный дар воспринимать истину, первоначально вложенную в человеческий разум, устанавливаешь только явление нравственное, совершенно схожее с постоянно происходящим на наших глазах, а именно что некоторые народы и некоторые личности обладают такими знаниями, которых нет у других народов и у других личностей.

В остальной части человеческого рода эти великие традиции также поддерживались в большей или меньшей чистоте в зависимости от различных условий этих народов; и человек шествовал по предписанному ему пути лишь при свете этих всемогущих истин, которые в его сознании породили отличный от него разум. Но имелось лишь одно средоточие света на земле. Этот светоч, правда, не блистал подобно человеческим познаниям: он не распространял обманчивого сияния вдаль; сосредоточенный в одном месте, одновременно светясь и скрываясь от глаз, как все великие тайны мира; пылающий, но скрытый, как пламя жизни, этот необъяснимый свет все освещал, и все стремились к этому общему средоточию, хотя как будто и светило самостоятельно и направлялось к самым противоположным целям⁸⁴. Но когда наступил момент великой катастрофы духовного мира, все созданные человеком призрачные силы тотчас исчезли и среди общего пожара осталось несокрушенным одно только вместилище вечной истины. Вот как понимается религиозное единство истории и как эта концепция возвышается до настоящей философии времен, которая показывает нам, что разумное существо точно так же подчинено общему закону, как и остальные создания.

Я очень желал бы, сударыня, чтобы вы могли усвоить себе этот отвлеченный и религиозный способ осознать историю: ничто так не расширяет нашей мысли и не очищает нашей души так, как эти неясные замыслы провидения, властвующего в веках и ведущего человеческий род к его конечному назначению. Но пока постараемся построить философию истории, которая бы осветила по крайней мере обширную область человеческих воспоминаний, с тем чтобы он был для нас зарей живого дневного света. Мы извлечем из этого предварительного изучения истории тем большую пользу, что оно само по себе может составить полную систему, так что мы в крайнем случае могли бы ею довольствоваться, если бы случайно что-либо помешало дальнейшим нашим изысканиям. Впрочем, я вам напоминаю, сударыня, что я беседую с вами не с кафедры и что эти письма составляют лишь продолжение наших прерванных бесед, в которых я так много почерпнул отрадных минут и которые – я с удовольствием это повторяю – служили мне истинным утешением, когда я в нем особенно нуждался... Итак, не ожидайте от меня большей поучительности, чем обыкновенно, и приготовьтесь сами, как обычно, продолжить эти размышления.

Вы уже, наверное, заметили, сударыня, что современное направление человеческого разума явно стремится облечь всякое знание в историческую форму. Размышляя о философских основах исторической мысли, нельзя не заметить, что она призвана подняться в наши дни на неизмеримо большую высоту, чем та, на которой она стояла до сих пор. В настоящее время разум, можно сказать, только и находит удовлетворение в истории; он постоянно обращается к прошедшему времени и в поисках новых возможностей выводит их исключительно

⁸⁴ Нет надобности пытаться определить географически то место земли, где этот светоч находился; достоверно одно: традиции всех народов мира совпадают в указании одной и той же местности земного шара, из которой пришли к нам первые познания людей.

из воспоминаний, из обзора пройденного пути, из изучения тех сил, которые направили и определили его движение в продолжение веков. И, разумеется, это направление современной науки чрезвычайно благотворно. Пора признать, что та сила, которую человеческий разум находит в узких пределах настоящего, не составляет всего его содержания, что в нем имеется еще другая сила, которая, объединяя в одной мысли и времена протекшие, и времена обетованные, выражает подлинное существо разума и ставит его в действительно принадлежащую ему сферу деятельности.

Впрочем, неужели вы не находите, сударыня, что и вообще традиционная, или повествовательная, история по необходимости неполна? Что она может заключать в себе лишь то, что сохраняется в памяти людей? А ведь сохраняется не все происходящее. Поэтому очевидно, что современная точка зрения истории не может удовлетворить разум. Несмотря на философский дух, которым ныне прониклась история, несмотря на ценные критические труды, несмотря на оказанное ей в последнее время содействие естественных наук, астрономии, геологии и даже физики, как видите, она не смогла еще прийти ни к единству, ни к той высшей нравственной оценке, которая вытекала бы из отчетливого понимания всеобщего закона, управляющего нравственным движением веков. Человеческий разум, рассматривая прошлое, постоянно стремился к этому великому результату; но поверхностное поучение, извлекаемое из истории столь разнообразными путями, эти уроки ходячей философии, эти примеры каких-то там добродетелей – как будто добродетель выставляет себя напоказ на великой мировой сцене, а ей не было свойственно пребывать в тени, – эта пустая психологическая мораль истории, которая не создала ни одного честного человека, но породила множество плутов и безумцев всякого рода, и которая только и служит к повторению жалкой мировой комедии, – все это отклонило разум от тех настоящих наставлений, которые должны дать ему традиции человечества. Пока в науке господствовал дух христианства, глубокая, хотя и неудачно выраженная мысль проливалась на исторические изыскания долю того священного вдохновения, от которого она сама происходит. Но в то время историческая критика была еще так неразвита, столько событий, особенно с первобытных времен, сохранились в памяти человеческого рода настолько извращенными, что весь свет религии не мог рассеять этого глубокого мрака; так что история, хотя и освещенная высшим светом, тем не менее не могла подняться на должную высоту. В наши дни рациональное воззрение на историю привело бы, без сомнения, к более положительным результатам. Разум века требует совсем новой философии истории, такой философии истории, которая так же мало напоминала бы старую, как современные астрономические учения мало схожи с рядами гномонических наблюдений Гиппарха и прочих астрономов древности. Надо только осознать, что никогда не будет достаточно фактов для того, чтобы все доказать, а для того, чтобы многое предчувствовать, их было достаточно со времен Моисея и Геродота. Самые факты, сколько бы их ни собирать, еще никогда не создадут достоверности, которую нам может дать лишь способ их понимания. Точно так же, как, например, опыт веков, раскрывший Кеплеру законы движения планет, был недостаточен для того, чтобы обнаружить для него общий закон природы; это открытие выпало на долю необычайного озарения особого рода, на долю благочестивого размышления. Именно так нам, сударыня, и следует пытаться понять историю.

Прежде всего, что означают все эти сопоставления веков и народов, которые нагромождает пустая ученость друг на друга? Все эти родословные языков, народов и идей? Слепая или упрямая философия всегда сумеет от всего этого отговориться старыми доводами об однородности природы всех людей? Все это удивительное сплетение времен она объясняет своей любимой теорией естественного развития человеческого духа, без всяких следов провидения, без влияния какой бы то ни было причины, кроме механической силы человеческой природы. С точки зрения этой теории человеческий разум, как известно, не более чем ком снега, растущий по мере того, как его катят. Впрочем, она или усматривает повсюду

прогресс и естественное совершенствование, присущее, по ее мнению, человеческому существу, или же она находит какое-то бессмысленное и беспричинное движение. Смотри по духовной организации исследователя, то мрачной и безнадежной, а то, напротив, исполненной надежд и уверенности в воздаяние, эта философия заставляет человека или бессмысленно трепыхаться, подобно мошкаре в солнечном луче, или все подниматься и подниматься силою своей возвышенной природы; но она всегда видит во всем этом человека, и только человека. Она добровольно обрекает себя на невежество; даже мир физический, который она якобы постигла, научает ее только тому, что он открывает пустому любопытству ума и чувств; поток света, непрестанно излучающийся из этого мира, до нее не доходит; если же, наконец, она и решится в совокупности всего усмотреть план, замысел, разум, подчинить им человеческий интеллект и принять все вытекающие из этого последствия относительно всеобщего нравственного порядка, это оказывается для нее невозможным, поскольку она остается сама собой. Поэтому ни к чему не ведут ни попытки связать между собой времена, ни непрестанная работа над фактическим материалом; надо стараться дать глубокие характеристики великих исторических эпох и определить совершенно беспристрастно черты каждого века на основании законов практического разума. При этом если внимательно всмотреться в дело, то окажется, что все сырье истории уже исчерпано; что народы выявили все свои традиции; что если и предстоит еще дать лучшие объяснения прошедшим эпохам, то эта задача будет решена не той критикой, которая способна лишь копаться на свалке истории, а приемами чисто рациональными, то по отношению к фактам не предстоит никаких новых открытий. *Итак, истории теперь осталось только одно – осмысливать.*

А раз это будет понятно, то история, естественно, займет свое место в общей системе философии и составит существенную часть ее. Многие предметы, разумеется, от нее отпадут и станут достоянием романистов и поэтов. Но еще больше их выступит из скрывающего их доселе тумана и поместится на самых высоких вершинах новой системы. Предметы истории стали бы заимствовать признаки достоверности не от одной только хроники, но подобно тому, как аксиомы натурфилософии, хотя и открытые наблюдением и опытом, сводятся геометрическим разумом только к формулам, так достоверность истинам области истории придаст бы разум нравственный. Такова, например, эпоха, на наш взгляд, столь мало еще понятая, и вовсе не за отсутствием данных и памятников, а лишь за отсутствием мысли, – эпоха, в которую упираются все времена, где все кончается и все начинается, о которой без преувеличения можно сказать, что в ней все прошлое человеческого рода соединяется со всем его будущим: я имею в виду первые века нашей эры. Настанет день, когда историческое мышление не сможет оторваться от величественного зрелища того, как все первоначальные людские величия обратились в прах и внезапно обнаружились все их будущие величия. Таков же и продолжительный период, который наступил вслед за этим обновлением человеческого существа и был его продолжением; который предрассудок и философский фанатизм обрисовали в столь ложных красках; в котором столь живые источники света скрывались в глубине самого густого мрака; в котором столь необычайные нравственные силы сохранились и питались среди видимой неподвижности умов и который начали постигать лишь с тех пор, как человеческий ум принял свое новое направление. Но затем исполинские фигуры, затерянные ныне в толпе исторических личностей, выйдут из окружающей их мглы, а слава многих, кому люди расточали столь долго преступное или бессмысленное поклонение, обратится навсегда в ничто. Таковы будут, между прочим, и новые судьбы некоторых библейских персонажей, которых человеческий разум оставлял в неведении или пренебрежении, и некоторых языческих мудрецов, которым он воздал славу не по заслугам.

Например, Моисей и Сократ. Раз и навсегда узнают, что первый открыл людям истинного Бога, а последний навещал им малодушное и беспокойное сомнение. На примере Давида и Марка Аврелия станет очевидным то, что первый был совершенным образцом

самого святого героизма, в то время как другой – только любопытным примером искусственного величия, пышной и хвастливой добродетели. Точно так же про Катона, в ярости растерзавшего свои внутренности, будут вспоминать лишь с тем, чтобы по истинному достоинству оценить философию, внушавшую столь неистовую добродетель, и жалкое величие, которое этот человек себе создал. Я думаю, что среди славных языческих имен Эпикур освобожден от порочащего его предвзятого мнения и что память о нем вызовет к себе новый интерес. Переоценке подвергнутся и другие знаменитости. Имя Стагирита, например, станут произносить с некоторым отвращением, имя Магомета – с глубоким уважением; на первого будут смотреть как на ангела тьмы, который сковывал на протяжении нескольких веков все силы добра среди людей; на второго – как на благодетельное существо, кто всего более способствовал осуществлению плана Божественной мудрости для спасения рода человеческого. И наконец, сказать ли это? Своего рода бесчестие будет связано с великим именем Гомера. В суждении, которое религиозный инстинкт Платона побудил его произнести об этом развратителе людей, не будут видеть одну из его знаменитых утопических выходов, а одно из замечательных его предвосхищений мыслей будущего. Необходимо, чтобы однажды людей заставило покраснеть воспоминание об одном преступном обольстителе, который ужасным образом способствовал унижению человеческой природы; необходимо, чтобы они принесли раскаяние за то, что расточали фимиам этому льстецу их страстей, который, чтобы угодить им, запятнал священную традицию истины и наполнил их сердца нечистью. Все эти идеи, которые до сих пор только слегка коснулись человеческой мысли или, в лучшем случае, покоятся без движения в немногих независимых умах, займут тогда безвозвратно свое место в нравственном чувстве человеческого рода и станут аксиомами здравого смысла.

Но одним из важнейших указаний так понимаемой истории было бы закрепление в памяти человеческого ума относительных степеней народов, исчезнувших со сцены мира, и установление в сознании живых народов ощущения тех судеб, которые они призваны выполнять. Всякий народ, ясно воспринимая различные эпохи прошедшей жизни, видел бы в истинном свете и настоящее свое положение и умел бы предвидеть тот путь, который ему надлежит пройти в будущем. У всех народов образовалось бы истинное национальное сознание, состоящее из некоторого числа положительных идей, очевидных истин, выведенных на основе их воспоминаний, из твердых убеждений, которые господствовали бы в большей или меньшей мере над всеми умами и направляли бы их к одной и той же цели. И тогда национальности, которые до сих пор лишь разделяли людей, избавившись от ослепления и от страстного преследования своих интересов, объединились бы для достижения согласованного и всеобщего результата; тогда все народы протянули бы, может быть, друг другу руки и вместе пошли бы к одной цели.

Я знаю, наши мудрецы обещали, что это слияние умов произойдет благодаря философии и прогрессу знаний вообще, но если рассудить, что народы, хотя они и сложные существа, на самом деле существа нравственные, подобно личностям, а следовательно, что один и тот же закон властвует в духовной жизни тех и других, то, очевидно, *деятельность великих семей человечества по необходимости зависит от личного чувства, вследствие которого они сознают себя как бы выделенными из остальной части человеческого рода, имеющими собственное свое существование и свой личный интерес. Это чувство является необходимой составной частью мирового сознания, оно составляет как бы Я собирательного человеческого существа.* Следовательно, в наших чаяниях грядущего благоденствия и беспредельного совершенствования так же невозможно сразу устранить величайшие личности человечества, как и ничтожнейшие, из которых те составляются. Следовательно, их надо принять безусловно, как принципы и средства к более совершенному существованию. Поэтому космополитическое будущее, обещаемое философией, не более чем химера. Сначала надо заняться выработкой домашней нравственности народов, отличной от их полити-

ческой морали; им надо сначала научиться знать и оценивать самих себя, как и отдельным личностям; они должны знать свои пороки и свои добродетели; они должны научиться раскаиваться в ошибках и преступлениях, ими совершенных, исправлять совершенное ими зло, упорствовать в добре, по пути которого они идут. В этом заключается, по нашему мнению, первое условие настоящей способности совершенствования для народов, как и для отдельных личностей; как те, так и другие для выполнения своего назначения в мире должны опереться на пройденную часть своей жизни и найти свое будущее в своем прошлом.

Вы видите, при таком отношении к делу историческая критика из предмета пустого любопытства стала бы высочайшим из судилищ. Она произносила бы неумолимый суд над гордостью и величием всех веков; она тщательно проверила бы всякую репутацию, всякую славу; она расправилась бы со всеми призраками и всеми историческими увлечениями; она занялась бы усиленно уничтожением лживых образов, которые загромождают память людей, с тем, чтобы прошлое, представ перед разумом в истинном свете, дало ему возможность вывести определенные следствия по отношению к настоящему и направить с некоторой уверенностью взоры в бесконечные дали будущего.

Я думаю, что одна величайшая слава, слава Греции, при этом исчезла бы почти целиком; я думаю, придет день, когда нравственная мысль будет останавливаться, лишь проникнувшись священной грустью в этой стране обманчивых надежд и иллюзий, из которых гений обмана так долго изливал на остальную часть земного шара соблазн и ложь. И тогда мы бы не видели чистые души людей, подобных Фенелону, беспечно упивающимися сладострастными вымыслами, порожденными самым ужасным извращением, до которого опустился человеческий дух, или же того, что мощные умы поддаются увлечению чувственными вдохновениями Платона⁸⁵; и, наоборот, нашли бы, конечно, себе применение – удивительное и неожиданное, – старые полузабытые идеи умов религиозных, а именно некоторых из тех выдающихся мыслителей, настоящих героев мысли, которые на заре нового общества одной рукой намечали предстоящий ему путь, а другой отбивались от издыхающего чудовища многобожия, замечательные построения других мудрецов – тех, кому Бог вверил сохранение первых слов, обращенных им к его созданиям, без сомнения найдут столь же убедительное, сколь и неожиданное применение. В удивительных видениях будущего, когда-то дарованных избранным людям, вероятно, усмотрят прежде всего выражение глубинного понимания абсолютной связи эпох и поэтому найдут, что на деле эти предсказания не относятся к тому или другому определенному времени, а служат наставлениями, одинаково применимыми ко всем временам, и даже, более того, поймут, что достаточно оглядеться кругом, чтобы заметить их постоянное совершение в последовательных изменениях общества как повседневное и ослепительное проявление вечного закона нравственного мира, так что пророчество ощущалось бы нами столь же живо, как и самые факты увлекающих нас событий⁸⁶.

Наконец, вот самый важный урок, который преподала бы нам история, таким образом понятая: урок этот в нашей системе сводит воедино всю философию истории, так как он дает нам понять всемирную жизнь сознательного существа, а она одна раскрывает *загадку человечества*: вместо того чтобы удовлетвориться бессмысленной системой *механического* совершенствования нашей природы, теорией, столь явно опровергнутой опытом всех веков, надо понять, что человек, предоставленный самому себе, напротив, шел всегда ко все большему и большему падению; если и были периоды прогресса у всех народов и моменты высокого просветления во всемирной жизни человечества, возвышенные порывы его разума,

⁸⁵ Шлейермахер, Шеллинг, Кузен и т. д. и т. д.

⁸⁶ Так, между прочим, люди перестанут искать, как это делали прежде, великий Вавилон в том или другом земном государстве, а ощутят себя живущими среди треска его крушений; таким образом, поймут, что возвышенный историк грядущих веков, рассказавший нам его ужасное падение, думал не о крушении одного определенного царства, а материального сообщества вообще, такого общества, какое мы видим.

замечательные подвиги его природы – чего нельзя отрицать, – то, с другой стороны, ничто не свидетельствует о постоянном и последовательном движении вперед общества в целом; на самом деле только в том обществе, которого мы члены, в обществе, не созданном руками человеческими, можно заметить настоящее восходящее движение, принцип реального и бесконечного прогресса. Мы, бесспорно, восприняли то, что изобрел или открыл разум древних раньше нас; мы этим и воспользовались и закрепили разбитое звено великой цепи времен, порванное варварством; но из этого никак не следует, что народы могли бы достичь до современного своего состояния без исторического события, совершенно самостоятельного, совершенно оторванного от всего предшествующего, стоящего совсем вне обычного зарождения человеческих идей и всякого естественного сцепления явлений, события, которое отделяет Древний мир от нового.

И тогда, сударыня, взору мудреца, оглянувшегося на прошлое, мир, каким он был в момент, когда сверхъестественная сила заставила ум человеческий принять новое направление, предстанет его воображению в его настоящем свете – развращенным, окровавленным, изолгавшимся. Он бы понял, что тот прогресс народов и поколений, которым он так восхищался, привел их на самом деле лишь к одичанию, неизмеримо более жалкому, нежели в тех народах, которые мы называем дикими; и как доказательство того, насколько несовершенны были цивилизации Древнего мира, он, без сомнения, убедился бы, что в них не было никакого принципа длительности и непрерывности. Глубокая мудрость Египта, пленительные красоты Ионии, доблести Рима, блеск Александрии, что с вами случилось? – спросил бы он себя. Блестящие цивилизации, древние как мир, вскормленные всеми силами земли, связанные со всеми славами, со всеми величиями, со всеми господствами и, наконец, с самой мощной властью, когда-либо попиравшей землю, как могли вы исчезнуть с лица земли?⁸⁷ К чему же вела вся эта работа веков, все эти гордые усилия духовной природы, если новые народы, не принимавшие в этом участия, должны были однажды все это разрушить, ниспровергнуть это великолепное здание и запахать его *развалины*? Для того ли человек возводил здание, чтобы увидеть когда-нибудь все произведения своих рук обращенными в прах? Для того ли он так много скопил, чтобы все это однажды потерять? Для того ли он так высоко поднялся, чтобы затем тем ниже пасть?

⁸⁷ Александр, Селевкиды, Марк Аврелий, Юлиан, Лагиды и т. д.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.